



В номере:

Башни молчания

Лиана ШАХВЕРДЯН берется за трудную задачу: художественными средствами восстановить историю своего рода с тех времен, до которых еще можно дотянуться — документальные свидетельства соседствуют со слухами и домыслами, неумолимо переходят в предания. Ее «Руки-реки» — роман о Дануше и его семье, совпавших со своим веком: временем революции, большого террора, «оттепели», — роман о поисках своей идентичности.

«Ты слышал? Сорвана печать...»

«...Он мгновенно проснулся от какого-то шума. Это было похоже на чьи-то выкрики. Возможно, это были его собственные выкрики. “Допустим. Но почему я кричу женским голосом?” — подумал он. Феликс слышал именно женские выкрики... кажется, женские. Он посидел еще с закрытыми глазами... Хотелось то ли выпить, то ли сдохнуть». Детективная повесть Алексея ТОРКА «Феликс и Древоед» — только внешне история из античного времени. На самом деле — это размышления о цене предательства, совершенного ради попытки ухватить писательское вдохновение. И цена эта непомерна, но справедлива.

«Настоящей прошлого ничего и нет»

«Взращённые, чтоб только продавать/ и покупать, и гордо жить по смете,/ мы научились мёртвым подавать,/ расчётливо надеясь на бессмертье...» Лирика Ефима БЕРШИНА и Татьяны ВОЛЬТСКОЙ насыщена острым чувством времени, болью и памятью о нем: «Благословенна карусель времён». Единство времени воедино связано с родными людьми и местами: Москва — Александра КЛИМОВА-ЮЖИНА, Петербург — Евгения ДЬЯКОНОВА, родная Одесса — «как Второмайский Мученик/ Из пепла облаков воскресе» — Веры ЗУБАРЕВОЙ.

Китайская логика. Почему бы нет?

Китаистка Анна ВОРОПАЕВА, которой выпал «универсальный шанс пожить в самой что ни на есть обычной китайской деревне под городом Ухань провинции Хубэй, где живут простые крестьяне и рабочие, основная движущая сила Китая», делится впечатлениями о «своем Китае».

Отпечатки времени

«Счастье и несчастье скручены в один жгут», — замечает, оглядываясь в прошлое, поэт Наталья АРИШИНА. Как было обещано в заглавии — «Воспоминанья зарифмую» — рифмует времена, события и судьбы. «Обстоятельства места» — Баку и Москва, Владивосток и Ялта, Париж и Питер, Переделкино и Коктебель. В числе героев ее «записей на ходу» — поэты Илья Фаликов, Юрий Ряшенцев, Белла Ахмадулина, Владимир Соколов, Александр Межиров, Владимир Высоцкий, Лариса Васильева, Евгений Евтушенко...

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.ком>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Сухбат АФЛАТУНИ

Муса АХМАДОВ

Ольга БАЛЛА

Дмитрий БИРМАН

Денис ГУЦКО

Иван ДЗЮБА

Ольга ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид НАГИМ

Илья ОДЕГОВ

Кнут СКУЕНИЕКС

Сергей ФИЛАТОВ

Ренат ХАРИС

Вячеслав ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

 Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oao-mpk.ru тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

*Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.*

*Во всех случаях полиграфического
брата в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.*

*При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.*

Сдано в набор 20.07.2021.
Подписано в печать 27.08.2021.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 9281. Цена свободная.

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ефим БЕРШИН. Пой, балалайка! <i>Стихи</i>	3
Лиана ШАХВЕРДЯН. Руки-реки. <i>Роман</i>	6
Вера ЗУБАРЕВА. Между омегой, альфой и Одессой. <i>Стихи</i>	74
Алексей ТОРК. Феликс и Древоед. <i>Повесть</i>	76
Николай ШУЛЬГИН. «Чепяльная» сказка. <i>Рассказ</i>	100
Евгений ДЬЯКОНОВ. Концерт для тишины. <i>Стихи</i>	111
Алексей КОЛЕСНИКОВ. Жертвоприношение. <i>Рассказы</i>	113
Алексей АЛЁХИН. Просто проза. <i>Рассказы</i>	141
Алена НОВИКОВА. Выбор. <i>Рассказ</i>	147
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН. Не быстротечность минувшего года. <i>Стихи</i>	151
Валентин АНОЦКИЙ. Эпоха № 6. <i>Рассказ</i>	154
Андрей КОРОЛЁВ. Два рассказа	166
Маншук ДАЙРАБАЕВА. Между Европой и Азией. <i>Рассказ</i>	172
Татьяна ВОЛЬСКАЯ. Карусель времён. <i>Стихи</i>	175

ПУБЛИЦИСТИКА

Геннадий ПРАШКЕВИЧ, Алексей БУРОВ. О пророках и предсказаниях.	
<i>Два письма на одну тему</i>	179

НАЦИЯ И МИР

Анна ВОРОПАЕВА. Заметки лаовая о жизни в китайской деревне под Уханем до пандемии	187
---	-----

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Наталья АРИШИНА. Воспоминанья зарифмую. <i>Записи на ходу</i>	201
---	-----

СВЯЗКА РЕЦЕНЗИЙ

Александр ЧАНЦЕВ. Ecomium musicæ, или Молекулы музыки	249
---	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Режущий воздух свободы («Новое литературное обозрение», № 166; <i>Д.Окрест, Е.Сенников. «Они отвалились: Как и почему закончился социализм в Восточной Европе»</i>)	257
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Не надо слов?	263
-----------------------------------	-----

ПОЧТА «ДН»

Вячеслав ВОРОБЬЁВ. Десятый наш десантный батальон	267
---	-----

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Язгуль ТИРКИШОВА. Музыка любви и красоты. <i>Мир художника К.Курбанова</i>	270
---	-----

SUMMARY	272
----------------------	------------

Ефим Бершин

Пой, балалайка!

* * *

Пой, балалайка, плакать нельзя...

Семён Липкин

Ропот вороний да шелест больниц.
Пахнет лекарствами и византийством.
Цивилизация самоубийц
цивилизуется самоубийством.

Соединившись с огнём и золой,
как василевс, проваливший экзамен,
царственный Ангел¹ парит над землёй,
царственный Ангел.

А на Москве, исторический прах
с ног отряхнув, как забытую пьесу,
милые роботы на фонарях
под балалайку дают «Марсельезу».

Будто иного уже не дано.
Будто совсем не бывает иного.
Царственный Ангел снимает кино.
Царственный Ангел рождается снова.

Вымокший август с растерянных лиц
шумно смывает остатки заветов.
Цивилизация самоубийц
цивилизует своих человеков.

Пой, балалайка! Иначе — никак.
Только сумма да тюремная пайка.
Не пропадать же за гнутый пятак.
Пой, балалайка.

Бершин Ефим Львович — поэт, прозаик, публицист. Родился в Тирасполе в 1951 году. Автор шести книг стихов, двух романов и документальной повести «Дикое поле». Работал в «Литературной газете». Постоянный автор нашего журнала. Живет в Москве.

¹ Ангел — представитель византийской династии Ангелов, при правлении которых началось угасание империи.

* * *

Его хотели расстрелять одни,
потом другие. И вполне за дело.
За то, что был. И солнечные дни
тянулись от расстрела до расстрела.

Он жил меж ними. Среди тех и тех.
Меж двух дождей, меж двух бессонных речек,
меж двух смертельных огненных потех,
перемешавших лица и наречья.

Меж двух времён, сменявших день за днём,
где голос неба страшен и неистов,
где сад, размытый солнцем и дождём,
как на картинах импрессионистов,
плодил плоды.

И люди, как во сне,
счастливые и мудрые до рвоты,
уверовав, что истина в войне,
построились повзводно и поротно,

уверовав, что надо исполнять
кантату, раздирающую уши.
Удачи вам. Свободы. Исполать,
пока на ветках созревают груши.

Когда уйдёт великолепный век,
уверенно стрелявший из засады,
останется последний человек,
тот, что когда-то не покинул сада

и медленно учился продавать
плоды деревьев, как плоды надежды.
Так продавать, как будто подавать
и тем, и тем. И оставаться между.

И слушать, как отчаянно поёт
оглохшая синица на рассвете.
Её ведь тоже кто-нибудь убьёт.
Не те — так эти.

* * *

Взращённые, чтоб только продавать
и покупать, и гордо жить по смете,
мы научились мёртвым подавать,
расчётливо надеясь на бессмертье.

Надеясь, что однажды благодать
падёт с небес на горы зла и злата.
И вдруг понять, что нечего отдать.
И некому. И никому не надо.

* * *

Передавлен, растоптан, отставлен
этот день, этот год, этот век.
Как младенческий свет из-за ставен,
выплывает неведомый свет.

Выплывает из звука, из гуда,
как из тьмы выплывает река
или облако — из ниоткуда,
неопознанное покуда
и не названное пока.

Зарождается где-то звезда
при морозной январской погоде.
Мы, наверно, ещё в переходе,
но не знаем, зачем и куда.

Хорошо бы собаку иметь.
Топать с ней по подтаявшей жиже,
отличая по запаху смерть
от ещё не родившейся жизни.

Или просто по лужам брести,
отражающим звонкое тело.
Только зеркало вдруг постарело.
Надо б новое приобрести.

* * *

Он, наверно, не ведает языка
моего, болевого, отчего.
Я кричу из российского далека,
а у него ни единого переводчика.

Я молился в рифму и так, без рифм,
избегая прохожих и прочего хлама.
И являлся в храм, но, как плот на риф,
натыкался на камни храма.

Ведь ему не важны ни хула, ни лесть,
ни молитва во храме гулком.
Я крадусь, как невидимая болезнь,
по московским кривым переулкам.

По пустым переулкам вчерашнего дня,
где уже смехотворны дорожные знаки,
где случайный прохожий бежит от меня,
как испуганный кот от бездомной собаки.

Где изысканный бомж с необъятной сумой
за табачным ларьком, заколоченным досками,
улыбался и щедро пытался со мной
поделиться едой и чужими обносками.

Перемена эпох. Перемена ролей.
И внезапный голос, дождями вымоченный:
«Я тебя ещё вылечу, дуралей.
Я тебя ещё когда-нибудь вылечу».

Проза

Лиана Шахвердян

Руки-реки

Роман

По сути, история рода Шахвердянов/Шахвердовых — предмет спора самих потомков. Каждый раз, сталкиваясь с разнотечениями, я понимала, что происхождение рода требует не только детального, а повсеместного анализа: чем глубже поднимается пласт истории, тем более целен образ, связанный с историей Закавказья: Арменией, Грузией, Ираном... Этот труд не претендует на абсолютную достоверность. Это — художественное произведение, основанное на реальных событиях, документах, истории человеческих судеб, которые невероятным образом коснулись меня: моего настоящего и будущего. Ведь все есть единое информационное поле...

I. Птицы и змеи

Люсик

Все казалось странным... Белый вал поднимался со дна глубокого ущелья... Мерно разрастаясь, легкой небрежной дымкой плавно расползался на бархатные зигзаги гор. Пропасть, разинув пасть, дышала шумом далекого Дебеда¹: длинная прозрачная змея гладким холодным брюхом проползала по каменистому дну. Там, внизу, сквозь грузные тиски облаков, редкими лучами высвечивались ореховые сады прародителей. Слияние солнца, призрачного тумана и зелени ранним августовским утром царило во всей округе...

Окна домов в Айгэате² засверкали солнечными бликами: настойчиво теребят мох, укоренившийся на стенах и каменных ограждениях между домами... И через невидимое преломление отражений, играво подмигивая друг другу, призывают

Лиана Шахвердян родилась в Тбилиси. Окончила механико-математический факультет Тбилисского государственного университета, преподавала в Москве и Тбилиси. Автор многочисленных публикаций, в том числе в журналах «Дружба народов», «Нева» и др. Автор книг «Многоточие» (Ереван, 2015), «Весна отчаяния» (Ереван, 2018). Почетный член Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии «Арион». Живет в Ереване.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2017, № 9.

¹ Дебед — река в Армении и Грузии, правый приток реки Храми, являющийся правым притоком Куры.

² Айгэат — селение на севере Армении, Лорийская область.

обитателей выйти из своих домов. И хотя сырость последних дождливых дней еще пробирала до костей, в деревне, вместе с ранними крикливыми петухами, уже зарождалась жизнь...

Укутанные в теплый шерстяной плед, Люсик с маленькой табуреткой в руках направлялась к ткацкому станку, установленному возле деревянного крыльца ее большого каменного дома. Работа не ждет: ее незаконченное полотно несколько дней томилось на открытом воздухе.

Люсик — двоюродная тетя, то есть двоюродная сестра моего отца. Высокая, стройная, как тростиночка, слегка «tronутая» временем, нелегкими годами жизни, но еще бойкая и подвижная. Всегда аккуратно одетая в то, что сама себе шьет и вязет. Ей — около шестидесяти, но выглядит моложе своего возраста. Особо привлекали роскошные длинные волосы... Все в ней трогало теплотой и основательностью. Мягкий певучий говор с выраженным лорийским акцентом добавлял ее образу магии земли, на которой она выросла. Обычно, собирая вокруг себя соседских детей, Люсик ткала ковер, пекла хлеб или, затопив камин, рассказывала длинные истории...

Но сегодня из слушателей была я одна — стояла возле большого деревянного станка, стараясь уловить последовательность движений ее ловких пальцев, что искусно собирали красочный рисунок: горизонтальная нить аккуратно продевалась в вертикальную основу, натянутую от верхнего валика — большого бревна, как я ее называла — к нижнему. Завязывала узелки коротеньких разноцветных нитей, протягивала поперечную нить по всей ширине ковра. И так снова и снова... В глазах моих рябило, я теряла внимание и погружалась в какое-то необъяснимое трансцендентное состояние, которое изредка прерывалось, когда нужно было подать довольно тяжелый гребень — попросту называемый «молоток» (Люсик впрессовывала им в тело ковра те самые утки-узелки) — или огромные ножницы, с помощью которых подстригались пучки ниток, выпирающих на поверхности полотна. Пестрые щерстинки сыпались на деревянный пол крыльца, словно продолжение ковра, и все это соединялось в нечто целое, в таинство постижения...

— А теперь мы впишем твое имя, точнее, первую букву, в этот рисунок, вот сюда: между ромбом и дугой спирали, — объявила Люсик, чем вызвала мои изумление и восторг.

— О, да! Я хочу, чтобы мое имя здесь было... Ведь тут имена всех наших! — запинаясь, пытаясь совладать с собой, ликовала я.

— Конечно, ведь этот ковер — особый. В его зигзагах имена детей этого дома. Это как родословное древо. С единственной разницей — составим рисунок из женских имен. И об этом будем знать только мы с тобой, — задорно, заговорщически подмигнула она. — Тут имя Ханум, — Люсик указала на дальний левый угол. — А рядом — Кали, мать Дануша. Тебе они приходятся прабабками. И так далее, и так далее... Все имена связаны. В этом прелесть жизни. — И, выдержав паузу, добавила: — Ушедшие нас не покидают. Живут с нами...

Я не стала спрашивать про «ушедших»: деревня кишила слухами о доме Дурмиши, в котором «жили духи», а переключила внимание на туман, который откуда-то вполз в небольшой двор, приближаясь, растягиваясь, а потом, наоборот, — скручиваясь, формируя спиралеобразное нечто, а затем, словно живая сущность, снова раскручиваясь в обратном направлении. И это движение было дыханием, а дыхание — движением... Туман становился ближе, плотнее и наконец заслонил ковер, рисунок, Люсик.

— Люсик, Люсик! — позвала я, испугавшись этой туманной метаморфозы и собственного одиночества. Из рук выпал «молоток», и глухой звук удара о пол укрепил во мне осознание, что я осталась одна...

Я перестала кричать и постаралась что-либо услышать. Но ватная тишина окутала меня. Неожиданно я ощутила чье-то присутствие, — в том самом месте, где сидела Люсик. То была... большая птица с опущенным клювом, выразительными,

почти человеческими глазами царственного, с золотисто-серебристым отсветом, темно-серым оперением и необычными крыльями, тяжело и как-то обреченно свисавшими до самого пола. Не выдержав мига бездействия, птица с шумом, как бы подчеркивая этот момент бытия, многозначительно расправила крылья и поднялась в воздух... Исчезла в тумане...

Я смотрела ей вслед...

И тут я поняла, что не одна... Посмотрев вглубь дома, в длинный темный коридор, обнаружила множество глаз, устремленных на меня.

Там было много птиц...

Ripsime, Гаянэ, Нина...

Мне часто снились птицы. Возможно, потому что в детстве я их очень боялась... Особенно тех, которые летали над пропастью и деревней. Каждое утро в поисках добычи они раскручивали спиралеобразные круги в высоту. Небо над Айгатом ими кишило. Действие это завораживало, особенно горожан, спасавшихся на своих дачах от удущивого городского зноя. Да и старая Анант, подруга и соседка Люсик, часто подбрасывала страшилки про то, как грозные орлы охотятся на маленьких детей, уносят их своим птенцам далеко в горы. Конечно, все эти «меры» принимались, чтобы не допустить детских вылазок в сторону «кари глуха», что дословно переводится с армянского как «голова камня». Так называется в селении место у подножия пропасти; огромный камень — край отвесной скалы, откуда открывается невероятная панорама на большой горный каньон. Горы с этой высоты кажутся близкими и доступными — рукой подать! Тем и было притягательно это место: каждый ощущал свою сопричастность к величественной красоте...

В этом ущелье водились ядовитые змеи, которые заползали и в селение: разноцветные, с редким орнаментом, они плавно скользили в цепляющихся кустах малины и ежевики. Чуть ли не в каждом доме в деревне жило по змее. И среди сельчан бытовало поверье, что змеи охраняют, оберегают дом. У той же Анант жило в погребе их несколько штук... Глаза у Анант были мелкие, неприятно сверлящие детское сознание. Сама — полусогнутая от старости, хотя и подвижная: всегда укутанная в длинный цветастый халат, она умудрялась ходить в нем большими шагами... Я не любила ни ее дома, ни ее змей, наверняка похожих на нее... Были домовые змеи и у Люсик, и у Айкануш, что жила несколькими домами ниже. Обычно змеи летом уходили из домов в горы погреться, понежиться на солнце. А в конце сентября, ближе к первым ночных холодам, перебирались обратно в свои убежища. В основном сельчане старались дружить со своими питомцами. Так, например, Айкануш подносила своей красавице каждый вечер парного молока. Та, в свою очередь, старалась не особо тревожить хозяев: выходила из норы ночью, когда они спали, принимала угождения и снова пряталась.

— Айкануш-таты, Вы совсем не боитесь змей? — как-то отважилась я спросить.

— Да не-е-е-е... Иногда находит, и тогда всё слепнет, — ответила она задумчиво, аккуратно перебирая овечью шерсть, которую готовила для пошива зимних одеял.

— Это как? — удивилась я.

— Это когда внутри случается беда, — задолго до настоящей, — твердо ответила она. Выдержала недолгую паузу, словно собираясь с мыслями, и продолжила: — В тот год, в июне, началась война. А в августе я уже проводила сына... Много ушло детей добровольцами. Я в своего Геворга вцепилась, умоляла дождаться повестки. Но нет. Решил не дожидаться... Уехал... С того лета черт вселился в меня. Ночами не спала, плакала, звала. А был уже конец сентября... Как-то смотрю, моя Нина лежит у порога и так слегка приподняла голову, словно ждет чего-то: или слов одобрения, или

Поэзия

Вера Зубарева

Между омегой, альфой и Одессой

* * *

..и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня
сзади, а лицо Мое не будет видимо.

(Исход 33:23)

Снится поезд. Снова снится поезд.
Колея ведёт в темноту.
Это поиск. Это вечный поиск.
Три дороги. Всегда выбираю не ту.
Снится поезд. Плутает впутьмах дорога,
Дом неизвестно, с какой стороны.
Поиск родины — как поиск Бога:
Если увидишь, то только со спины.
Мчится поезд.
Сон по забытому, брошенному.
Уж сколько лет...
Мчится поезд. Опять и опять по прошлому.
Настоящей прошлого ничего и нет.

* * *

Какой там сон,
Когда стихи идут,
Спешат, торопят, не дают отсрочки!
Отрезанный ломоть —
Все там, я тут.
Прорвало дамбу —
Строчки, строчки, строчки.
Идут стихи, а может, не стихи,
А может, звёзды падают в копилку,
А может, рыб роятся косяки —
Тех, что у Бога только на посылках.
Рождённые в созвездье рыбарей,
Они несутся из морей небесных,
А я ловлю их из своих морей
Между омегой, альфой и Одессой.

Зубарева Вера Кимовна — поэт, прозаик, PhD. Преподает в Пенсильванском университете. Автор 20 книг поэзии, прозы и литературной критики на русском и английском языках. Главный редактор журнала «Гостиная», президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Лауреат премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), премии им. Константина Паустовского (2010) и др. Живет в городе Филадельфия (США).

* * *

У берега другого знать, что там,
Где ходят сны за ночью по пятам,
Рисуют легковесные наброски,
И снится переулкам и дворам
Из пепла возрождённый Город-храм
Со свитком вод и звонарём в матроске.

Роятся чайки, и со всех сторон
Струится звон из колокольных волн,
И чудо-рыба отливает солнцем,
Привозом акварельным всех времён,
И управляет щедрый князь Гвидон,
И царь Салтан на всех парах несётся.

И много, много разных дивных див,
И у волны морской там свой порыв,
Диапазон такой, — что всем на зависть,
Когда выводит из глубин мотив
И переходит на речитатив,
Из раковин на сушу проливаясь.

А на асфальте вмятины с тех лет
Акации усеял белый цвет,
И мимо дома шествует прохожий.
Его уж нет. И дома тоже нет.
Но я смотрю, смотрю, смотрю им вслед
У берега другого... Или нет —
Всё у того же.

* * *

Помнишь, луна над трубою светила?
Помнишь, домой загоняли всех силой
В самый разгар болтовни, беготни?
Помнишь, куда улетели те дни?
Как же не помнить!
Помню, конечно, —
В тёмный скворечник
На ветке черешни,
Что пустовал по весне без скворца.
В нём только ветер гудел без конца.
Помню и лето, и все эти сказки,
Тёмное море в лунной окраске.
Кто-то кого-то звал из окна.
Все разошлись... Я осталась одна —
Где-то уже на другом побережье,
С новою жизнью, с памятью прежней.
Будто скворец, что тогда улетел.
Будто скворечник, что всё ещё цел.

* * *

Над морем полнолуние весеннее,
И бликами вода всё чаще грезит.
Уже недалеко до воскресения,
До пикников, детей на волнорезе.
Ещё апрель, но маём воздух мается.
Май в думах, май во всём — в небес покрое,
В сиянье вод, начищенных до глянца,
И Пасха выпадает на второе.
И мысли ходят всё вокруг да около
Запретной даты, что сошлась с Заветной,
И Город по ночам гудит, как колокол,
Не от мирского — от морского ветра,
И караваны рыб, мечтой навьюченных,
Несутся по барханам волн к Одессе,
И снится всем, как Второмайский Мученик
Из пепла облаков воскресе...

Алексей Торк

Феликс и Древоед

Повесть

С шипением хлынуло, и, набросив на ходу капюшон, он стал размышлять: поможет ли ему ливень зарезать Древоеда или как-то помешает?.. Дождь усилил полуслуху. С востока одна за другой шли тучи, которые окончательно затеняли дорогу, усеянную вдобавок лужами. Первое время он обходил их, но потом подумал, что простудиться не успеет, и зашаркал по воде.

Он сделал положенные сорок шагов к западу, развернулся и пошел обратно. Ветер холодил ему спину. Спускаясь к внутреннему двору, он вспомнил, что, по примете, закатные тучи на востоке означают, что завтрашний день будет холодным... — для тех, конечно, у кого есть завтрашний день. Он глянул на Древоеда, который располагался по ту сторону решетчатой ограды внутреннего двора, — полускрытым тьмой и решеткой. Его голова свесилась на грудь, а подтянутые прежде к животу ноги теперь вытянулись и легли на костище, залитое водой, — он спал. Кажется, спал. Феликс вроде даже разглядел, как вздрагивает во сне его искореженная челюсть.

Феликс отвел глаза. «Через сорок шагов, клянусь!» — подумал он. Не останавливаясь, вынул фляжку из-за пояса и посмотрел на восток: оттуда наплывала очередная туча с багровыми разрывами в хвосте, — там были неслышные молнии.

«Дождусь ее. Повиснет над нами — тогда и зарежу», — решил. Но, дождавшись, не зарезал, а сделал изрядный глоток вина. От пальцев, скимающих фляжку, пахло дермом. Он опустился на корточки, сунул пальцы в раскашившую от ливня землю. Затем вытер их о носок сапога. Понюхал и чуть слышно ругнулся: теперь они пахли и землей, и дермом... «Чем бы отчистить?»

«Попробуй сунуть их в костер, чтобы запузырились. Чтобы покрылись черной коркой, как у тех», — подсказал Феликсу некто мысленный. Феликс в ответ плотно приложился к фляжке.

«Сунь в костер», умник, — передразнил он того, мысленного. — И костра-то нет, потух давно. Не видишь, что ли? Ну и молчи тогда...»

Он спустил фляжку к ногам и уткнулся лицом в ладони. Дождь усилился, надо было подыматься, но, покачиваясь, он стал засыпать на корточках. От пальцев

Алексей Торк (*Алишер Ниязов*) родился в 1970 году в Таджикистане. Работал в таджикских СМИ. С 1996 по 1999 год был корреспондентом ИТАР-ТАСС в Киргизии, корреспондентом агентства РИА Новости в Киргизии и Казахстане. Освещал военные конфликты в Таджикистане и на юге Киргизии. Лауреат Русской премии (2010) за произведения, опубликованные в «Дружбе народов».

Предыдущая прозаическая публикация в «ДН» — 2019, № 9.

продолжал исходить запах дерьяма, но теперь он не беспокоил, и ничто теперь его не беспокоило. Теперь — хорошо...

Во внутреннем дворике слышался плеск шагов Глины — десять до отвесной земляной стены — десять обратно.

«Добросовестный какой, — подумал Феликс с сонной ухмылкой. — Единственный из римского караула, из нас троих. Остальные — кто дрыхнет, кто собирается прирезать Древоеда...»

Он тряхнул головой: «Нельзя спать».

Он искоса глянул на Древоеда, прикидывая расстояние, — десять-пятнадцать шагов. «Я сделаю так, — размышлял он, — поплетусь в его сторону со скорченным, на всякий случай, лицом. Навроде как ищу место, чтобы облегчиться. Затем кинусь на него со спины и ударю три раза подряд — не меньше. Человек до смешного живуч — как справедливо учит эта скотина».

— Это забывают даже опытные бойцы. Поэтому всегда, если есть такая возможность, необходимо наносить три-четыре быстрых удара. Желательно с проворотом, — учил Древоед на последнем занятии. В его шишковатом посеченному кулаке появился нож, обращенный лезвием назад.

— Глядеть — всем, — предупредил Древоед.

И все это штрафное отребье, выстроенное в цепь, ухмыляется, а некоторые, словно бы невзначай, подаются вперед и косятся в сторону Феликса, ибо знают, что будет дальше. Дальше, объявив задачу, Древоед, словно бы забыв о ней, двинется вдоль цепи, задумчивый, расслабленный.

Феликс сопровождает его взглядом, пытаясь угадать мгновение атаки. Но не угадывает, конечно, и никогда не угадывал: молниеносно срываюсь с места и делая пару обманных замахов, на которые Феликс, теряя равновесие, всегда покупается, он проскальзывает за спину, хватает его за горло и бьет костяной ручкой ножа — раз-два-три. Феликс, всхрипывая, падает на колени. Почти теряя сознание от боли и нехватки воздуха, он валится в лужу и замирает там, боясь пошевелиться. «Я мертв, мертв! ты убил меня, ты видишь это?» — показывает он Древоеду, и — нож исчезает. Древоед отступает назад и мертвым, почти не сбившимся голосом, отдает распоряжения на завтра.

Феликс тем временем подымается на четвереньки. По строю проносится хохот — Древоед выбирает для уроков участки плаца либо залитые лужами, либо там, где земля усеяна конским дерьмом. Конники тут отрабатывают езду без стремян — для улучшения посадки.

Раз или два в неделю он получает от Древоеда по полной: бьется лбом о плац, катается по нему, получая ушибы и вывихи; он глотает воду из луж, а также смешанную с дерьмом землю, намертво придавленный сверху тушей Древоеда... Потом слушает его наставления.

Когда объявлялось личное время, он шел за вином к Монете в складскую палатку. Добрый Монета плещет ему вина и тут же гонит.

— Иди, или наружу. Воняешь.

Он послушно выходил из палатки, садился у входа на походные жернова. Вода головой, будто потягиваясь, он тянул вино и рассеянно глядел в серединку неба.

— Странно, что он еще не убил тебя, — сказал однажды Монета. Где-то в середине палатки он перебирал на парусине ячмень, а затем лопатойсыпал его в мешки. Поэтому его голос звучал отдаленно и глухо.

— Чего странного?

— Сильно хочет.

— Ты заметил? — Феликс пьяно захихикал.

— Иуйё...

— А?

Монета высунулся из палатки с лопатой и сказал:

— И, говорю, убьет... Подвинься-ка, — он постучал лопатой о жернов, стряхивая с нее ячменную шелуху. Феликс подвинулся. И запоздало кивнул: убьет, конечно. На следующем занятии или через неделю. На плацу при всех или, к примеру, зайдя перед сном в казарму. Сделает пару замечаний звеньевому, оглядит сапоги, выставленные у двухъярусных лежанок, — помыты ли? — проследует в конец казармы, туда, где отдельно от всех лежит Феликс, поморщится, развернется, чтобы проследовать обратно к выходу. И тут бросит: «Аа, да. Забыл». И воткнет свой охотничий нож в середку груди Феликса.

«Глина, прибери тут. Тело, то-сё...» — скажет рассеянно и пойдет к выходу, ощупывая тюфяки — не пора ли перенабить свежим сеном?..

Пару дней назад, прохаживаясь вдоль строя, он рассказывал им о «ярости и скоростной атаке»: — Важно помнить, — негромко произносил он, — что ярость уменьшает мышечную силу. Кураж и безразличие — вот единственные чувства, которые должны владеть вами во время боя, каким бы ни был ваш противник. Каким бы ни был... — он пошевелил пальцами, подбирая слово, а затем, повернувшись, посмотрел на Феликса: — Да, сочинитель?

Его изрубленные губы обнажили беззубый рот, а его глаза, и без того почти не видные из-за ожогов, совсем исчезли, — это означало улыбку. Феликс напряженно смотрел на него — надо было что-то ответить, но он не знал — что. Заметив это, Древоед кивнул успокаивающе, мол, не напрягайся, я так просто спросил. Он вышел на середину плаца, обозначенную сапогами из красной кожи. Это были сапоги Древоеда. Во время занятий он всегда снимал их.

Затем посмотрел на Феликса и демонстративно медленно перебросил нож клинком вперед. Это был жест готовящейся «боевой» атаки, и Феликс внутренне ахнул, ибо хотя и давно ждал этого, но подлинный страх, тот, что лязгает в ушах, когда человек словно бы раздувается и начинает видеть себя со стороны, впервые — со стороны — пришел только сейчас. Штрафники замолкли, только теперь сообразив, что происходит. Цепь сама собой разомкнулась, и Феликс оказался один на расчищенном для убийства пространстве в двести локтей в длину и столько же, примерно, в ширину. Он метнул взгляд назад. Затем попятился боком, выставив плечо.

Древоед сделал несколько быстрых шагов в его сторону, на мгновение остановился, как бы прицениваясь, и — с чудовищной скоростью рванул на Феликса.

— Дынц! — сладострастно выкрикнул Глина из строя.

Феликс заранее рухнул в лужу, зажмурил глаза; вдохнул, сколько можно, воздуху.

«Вот. Сейчас, — мелькало у него в голове. Лицо обожгло, и он закричал, ничего не стесняясь, — криком тоски и жалости к самому себе. Впрочем, уже в следующее мгновение он сообразил, что его обожгло не клинком, а чем-то... вроде пощечины. «Хотя, — подумал он, — кто знает, может, смерть и ощущается вначале вот так: как бы пощечиной?» Не открывая глаз, он прислушивался к себе, к своему дыханию: «Я думаю? Я дышу?» Промежность заныла от холода.

«Это лужа, я лежу в ней. А покойники не чувствуют холода луж», — он открыл глаза. Древоед нависал над ним. Увидев, что Феликс открыл глаза, он сделал жест ладонью, мол, подымайся. Тот продолжал лежать. Внутренней стороной стопы Древоед пнул по луже — Феликса обдало грязной водой.

В цепи, приседая, гоготали как сумасшедшие. Глина крутился волчком, всем что-то объяснял, задыхался от смеха, хлопал ладонью о ладонь. Кто-то низко гундел в ответ: «Красавчик, красавчик...»

Феликс сел, оттер лицо. Боясь встретиться глазами с Древоедом, он смотрел вниз, в сизую раскачивающуюся воду...

В лагере штрафники с восторгом обсуждали инцидент. Это отребье знало толк в издевательствах. Особенно — в лицах и голосах — старался-лицедействовал Глина,

Евгений Дьяконов

Концерт для тишины

* * *

Уходит вечер в заиканье,
рыбак плывёт в заокеанье —
туда, где волнами разлуки
ложатся друг на друга звуки.
Где ни отлива, ни прилива,
и ночь — как рыба молчалива.
Он уплывает в близорукость,
его не мучают уже
во рту неслыханная сухость
и даже духота в душе.
В бреду ворочаясь, сопя,
вот-вот — и выловит себя.
И сразу по башке веслом —
без слов.

* * *

Вчерашний день, река в инфинитиве,
стою, прильнув плечом к плакучей иве,
но слов воды не вспомнить, не забыть,
не разобрать...
смотреть... рыбачить... плыть...

А может быть, напиться и тонуть?
Луч солнца мне высвечивает путь.

Кувшинки золотятся на пути,
итить твою — отчётиво — идти.

* * *

За сорок лет,
но заполночь шагнёшь,
за городом, как вкопанный, стоишь
и точно помнишь — не было афиш.
Но сделал шаг —
и вот тебе аншлаг,
а дождь перетекает плавно в дрожь.

Дьяконов Евгений Александрович — поэт. Родился в 1989 году в Ленинграде. Окончил СПбГУКИ. Работает экскурсоводом. Публикации в журналах «Нева», «Урал» и других. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Санкт-Петербурге.

В партере очарованный камыш,
змея под камнем, сойка на берёзе,
а кто там в ложах, ты не разглядишь,
пока стоишь и утираешь слёзы.

Концерт для тишины,
затишие, тиши
и морось,
морось, морось о морозе.

* * *

О, этот рембрандтовский свет —
течёт из плоскости другой,
не той, где рубенсовский цвет,
не там, где мы живём с тобой.
Он зарождается во тьме.
Его творец и слеп, и нищ.
Ну что ещё сказать тебе
о днище днищ?
Сломай подрамник, разорви
в клочки подстрочник.
Ведь этот свет не о любви.
Держи платочек.

* * *

Их с рожденья пугают:
мол, будете плохо учиться —
не замёрзнете и не сумеете в небе кружиться,
мокрым местом останетесь, жалкими каплями лишь,
и они стекленеют над рёбрами ломаных крыш,
над когтистыми кронами позднеосенних аллей,
в ожиданье увидеть, хотя бы увидеть людей.

И конечно, немногим, немногим, конечно, из них
узнаванье себя предстоит на ладонях твоих.

* * *

Надо только расхотеть,
расхотел уже на треть —
за пределом расхотенья
остаются: жизнь и смерть.

И на те, на эти плечи
давят, как дефекты речи,
слуха, зрения, того,
что
ого и огого.

Остаётся спать и петь,
видеть, ежели смотреть,
слышать, если взялся слушать,
дни на тёрочке тереть.

Так, глядишь, и угодишь
расхотелом в расхотишь.

Алексей Колесников

Жертвоприношение

Рассказы

Моей возлюбленной Р.

Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви.

Песнь песней Соломона

Я помню, когда это случилось впервые. В тот вечер я долго выбирал вино, шурясь на оскaledенные ценники. Продавцы вертелись вокруг меня. Я плавился под их подозрительными взглядами. Было не ясно: брать две или три бутылки? Ты жизнью клянешься, что терпеть не можешь алкоголь и всегда, всегда так много пьешь, любимая.

Хочу, чтобы ты знала: то вино не было самым дешевым. Оно стоило столько, сколько стоят два моих рабочих дня. А это дорого.

Прежде чем приехать, ты долго ныла. Я честно не понимаю, зачем нам этот унылый этап, если все равно ты едешь ко мне.

Добавлю: надев пахнущие порошком носочки.

— О Господи! Опять тащиться через весь город.

— Опять... Ведь вчера мы решили, что так удобнее. В городе ветер, а в кино только бездыханные фильмы.

— «Бездыханные фильмы», господи! У меня живот болит.

— Что же... Останешься дома?

— Может быть.

Я вымыл свое жилище в трех водах, я запек рыбу, я постелил нам свежую постель. Я вымыл тарелки и протер их салфеткой. Я спрятал все тетради со стихами, чтобы ты над ними не смеялась. Мало тебе?

— Так что же? Не приедешь?

— Такси вызываю.

— Отлично! У меня все готово. Рыба запеклась.

— Нафига? Я что? дома не могу поесть? Кстати, повышенный тариф на такси.

— Хочешь, оплачу?

— Хотел бы — оплатил бы. Ко мне таксист клеится.

Колесников Алексей Юрьевич родился в 1993 году в Белгороде. Образование высшее юридическое. Печатался в журналах «Новая Юность», «Нева» и др. Живет в Белгороде.
Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 7.

— Будь он проклят! Попроси остановиться!

— Да он нормальный дядька. На моего деда похож — тоже рубашку на свитер носит.

Ждать невыносимо. Если ехать пятнадцать минут, то почему ты едешь двадцать пять?

Я сидел на стуле, смотрел на завернутый уголок обложки книги и не верил, что лично проживаю жизнь; что я не персонаж сгоряча написанной повести.

— Ногу натерла — если бы ты знал, как болит, — произнося это, ты обычно делаешь три вещи одновременно: сходишь на пол с высоких туфель, закидываешь за ухо прядь волос и смотришь в зеркало с пятнышком от моего лба.

На тебе красное платье с синими цветами и белым воротником, твои ноги еще алеют от скорого бритья. Пудра на архипелаге прыщей под мочкой уха осыпается и пахнет конфетами.

— Похолодало.

— И что?

— А ты с голыми ногами.

— О господи! — ты ушла на кухню, оставляя за собой цветочный аромат и меня.

Мы ели и пили, а потом говорили. Я рассказывал о своем детстве. Почему-то мне захотелось сказать такие слова, услышав которые, ты почувствуешь то, что чувствовал я шестилетний, стирая грязь с глянцевитого каштана, рухнувшего мне под ноги от толчка ветра влажным осенним утром; я шел в школу с окраины поселка к центру. И все. И ничего такого, а захотелось рассказать.

— Самое дешевое вино? — спросила ты, когда мы переместились на диван под свет экрана. Я включил фильм, которым мечтал заинтересовать тебя с июня; дерзнул это сделать.

— Обещаешь, что кино не нудное?

Всегда не зная, как начать, и в этот раз я поцеловал тебя неловко, будто укусил. Губами я чувствовал, что ты улыбаешься. Скоро ты начала грозно дышать и вслепую поставила бокал на подлокотник дивана. Он упал, но не разбился. Ты улыбнулась, как нашаливший ребенок, осмотрела задранное платье и вздохнула от живота. Я опустился на колени и стал целовать твои холодные снизу и теплые сверху ноги. Пальцем я тронул влажную ранку на твоей пятке, ты дернулась, а потом вскрикнула.

Экран мерцал на нас.

Мои джинсы намокали от разлитого вина. Ты гладила мои волосы.

— Сейчас, подожди, — уходя с твоим платьем к шкафу, попросил я. — Повешу, чтобы не измялось. Сейчас. Не раздевайся дальше без меня.

Твое платье немного, совсем чуть-чуть пахло потом. Оно было шерстяным, а пот надежно въедается в шерсть.

Твои губы высохли до трещин, пока я ходил.

Я коснулся твоих плеч — холодные. Я прижался животом к твоей спине — холодная. Я поцеловал тебя — губы холодные. Но живые.

Они ответили винным поцелуем. И стало так спокойно, что даже захотелось спать.

Зачем пить вино, если можно целовать тебя, чувствуя собственным сердцем, как лупит твое сердце в матрас?

Я решил, что нужно прошептать твое имя. Не фальшиво, не грубо, не для себя, а для тебя одной, чтобы ты сама его не забыла.

Не получилось. Язык, точно ошпаренный соленым кипятком, сполз в глотку и не послушался.

Что это было? Помню страх, рванувший из сердца в мою каждую клеточку.

А ты ничего. Ты, как всегда, лепетала что-то бессвязное, какой-то заговор:

— Не дави тут... не будет... думала долго жить... захочет ромбиком... развернись чуть... со мной, надоел... я обмануть хотела... рука горячая... отдохнуть... отдыхать надо... горячую убери... а он: «денег нет»... набок, ага... обещал приехать... и в сумке телефон... уже осень... не дави... давай... надави... давай.

После, как всегда, мы долго говорили.
С теми, кто у тебя в другие дни, ты тоже так?

Я открыл третью бутылку, уколов штопором палец. Я был так увлечен, что не глянул на кровь, а потом обнаружил пятнышко на одеяле.

Помнишь, о чем я рассказывал? О том, что был в лесу на выходных и видел, как начинается осень. Я рассказал о поваленном дереве с желтыми листами, чуть более желтыми, чем те, что растут на молодом дереве, не поваленном. Будто сын стоит у гроба отца; будто часовой, стерегущий последнего жителя разоренного города.

Ты спросила: как брат? И я вспомнил, что должен грустить о нем. Мне стало стыдно, что, когда ты кладешь голову на мой живот и пахнешь сразу всеми прекрасными запахами: и лесом, и морем, и полем, и камнем, и землей, и фруктами, и городским снегом, я не могу грустить как полагается.

— Умирает, — ответил я. — Вчера, когда ему сделали укол, он сказал, что хорошо очень. Что вот так бы и было всегда. А после спал целый день и только ночью вставал попить сока. Мама звонила и просила купить одинаковых полотенец для тех людей, которые будут сидеть над ним ночью, когда он умрет. А я забыл. Хорошо, что теперь вспомнил.

Мы молчали. Ты укрылась одеялом и почесала им нос, а после взглянула на меня беззащитно. Вот именно в этот момент почему-то мне стало горько и жалко себя. И главное: мне очень захотелось, чтоб ты уехала. Я вспомнил, что у тебя целый легион таких же, как я, и на кого-то другого завтра ты посмотришь так же.

— Останешься?

— Хочешь, чтобы я уехала?

— Конечно, нет, — ответил я и повторил, как всякую ложь повторяю. — Нет, конечно.

Ты сама меня поцеловала и стала приказывать делать то, что тебе нравится. Я замерз и почувствовал голод.

Утром я открыл окно, впуская свежий воздух, пуская на прогулку наши избитые души. Небо было как намокшая бумага, и шел мелкий дождь.

Пришло разбудить тебя, чтобы не опоздать на работу. Без работы не будет денег.

Ты сказала, что болит голова и живот и что не целуешься в губы. Потом ты долго искала что-то под диваном и шептала, что больше никогда не приедешь. Я ждал нетерпеливо в дверном проеме и торопил тебя.

Так вот: той ночью я не смог произнести твоё имя. Это потом повторилось.

Помнишь, я не хотел к твоим друзьям в те выходные? Самое плохое в них то, что они неумело скрывают свое презрение. Неумело потому, что бесталанны.

Если бы комфорт зависел от таланта, то твои друзья жили бы в горной расщелине, питаясь мхом и им же омываясь.

— Вы знаете, что она моется на коленях? Я случайно заметил. Клонится, как ребенок на молитве, — я сказал это, и все сразу замолчали.

— Нафига ты это рассказываешь?! — крикнула ты, но тебе понравилось.

Твоя подруга, извинившись за опоздание, присела рядом со мной и глотнула вина. Я подал ей сыр, и она взглянула на тебя с восхищением. Она вытянула свои длинные ноги, но не нужны мне они.

Алексей Алёхин

Просто проза

Рассказы

Ребус

Ну, вы знаете, как это бывает с интернетом. Поищешь там пену для бритья, потому что кончилась, и тебе начинают сыпаться рекламные картинки с бритвенными станками, кремом после бритья, гелем для душа, самими душевыми кабинками, а там предложат и полную переделку ванной комнаты с заменой сантехники и плитки под ключ. Или жена за своим компом в другой комнате поинтересуется каплями от насморка, а тебя опять же закидают жаропонижающими, болеутоляющими, сиделками по уходу, инвалидными креслами на колесиках, вплоть до уютного дома престарелых для лиц с деменцией в ближнем Подмосковье — не пойму, откуда они знают, что она моя жена, и почему думают, что дело зайдет так далеко. И все ж, согласитесь, тут есть своя гомерическая логика. Но вот мне раз за разом стали приходить заманчивые предложения на закупку шорно-седельной кожи, и я зашел в тупик.

Зачем она мне? И почему — именно мне?

Стал припоминать, а нечего припомнить. Ну да, был у меня, по рассказам, прадед-кузнец в еврейском местечке еще до революции. Но ведь не шорник. Или у него все-таки был брат, ну, какой-нибудь двоюродный брат, который как раз держал там шорную мастерскую? Так он же лет сто с лишком лежит в земле в той самой черте оседлости. Да и вряд ли у него там есть ноутбук с интернетом.

А может, это вообще не про него, а про меня? Может, Яндекс этот чертов знает меня насквозь? Не только что я делаю, но и что должен делать? Вон, Менделеев в свободное время чемоданы шил. А Лев Толстой тачал сапоги. Или и вовсе я не то выбрал ремесло и надо, пока не поздно еще, исправить?

Думал я, думал, даже внутри заныло, и не придумал ничего. Но кожи на всякий случай заказал. А также шильев, серповидных ножей и прочего шорного инструмента. Завтра курьера из «Озона» жду, привезет самоучитель «Шьём сёдла и уздечки».

Алёхин Алексей Давидович — поэт, эссеист, критик. Родился в 1949 году в Москве. Создатель и главный редактор журнала поэзии «Арион», выходившего в 1994—2019 годах. Автор нескольких поэтических книг. Живет в Москве.

Синие чернила

Не знаю, как сейчас, а в середине 50-х, да и после, уже в самый день поступления в первый школьный класс свершалось деление на две касты, во многом предопределявшее человеческую судьбу.

Дело в том, что в одних школах, этих было большинство, писали фиолетовыми, а в старших классах синими чернилами. В других — черными. И чуждый цвет не допускался.

Привыкшие к синему так и писали им всю жизнь. Я вот и теперь испытываю неловкость, если вынужден попользоваться черной ручкой, точно тапку не на ту ногу надел. А черночернильники — наоборот. И переход, случись он, в школу иного цвета был чем-то вроде жизненной катастрофы. Ну, как переменить пол.

Официальной статистики нет, но мои долголетние наблюдения говорят, что «синие» и «черные» — разные типы. Оглянитесь вокруг, полюбопытствуйте, сами убедитесь.

Из черночернильников больше выходят люди серьезные, дотошные и внушительные. Ученые, инженеры, прозаики, государственные деятели. А из синечернильных — так, ерунда: учителя, сочинители стихов, военные небольших чинов, журналисты. Про актеров и художников не скажу, те вообще ничего не пишут, и не знаю, умеют ли.

С синими чернилами в голове далеко не уедешь, я по опыту знаю.

Черт дернул родителей записать меня в 119-ю школу, что на углу Малого Гнездниковского и Шведского тупика!

Хотя вот поэт Чухонцев пишет черными. Ну, бывают же непутевые и среди них.

Плоды просвещения (моналог)

Посвящается всем зятям

Обычная московская кухня. Слева — холодильник и плита. Справа — крашеный буфет. На буфете — подаренный на Новый год синий с золотом том «Елены Молоховец». За столом муж, жена, теща.

— Ну что вы, Елена Вольдемаровна, все голубцы да голубцы, да макароны по-флотски? Неужто вам трудно, Елена Вольдемаровна, взять 3—4 фунта телячьего фрикандо от хорошей задней части, вымочить несколько часов в соленой воде, обсушить, нашпиговать ее тоненькими, длинненькими такими кусочками ветчины, шпигом и миногами, как их готовят для закуски, только что шпиговать при этом каждой вешью в отдельных местах?

Это что, такой уж труд, Елена Вольдемаровна, положить потом в кастрюльку тоненькими пластинками нарезанный лук, порей, сельдерей, петрушку, влить туда вина вейнографа и хорошего бульона, чтоб телятина была покрыта, всыпать несколько зерен английского и простого перца и нашикованной мелко лимонной цедры, да и варить, пока мясо не будет мягкое?

Я не понимаю, у вас что, Елена Вольдемаровна, руки отсохнут, что ли, вынуть тогда мясо, уложить на блюдо да и облить соусом? А его и готовить-то не надо: только процедить оставшийся в кастрюльке бульон, снять жир, прибавить свежей осетровой

икры, а коли нет, то и хорошей паюсной, разведя бульоном, положить свежего сливочного маслица, да лимонного сока ложку, вскипятить и все, готово! Облить им телятину и подавать!!.

Нет, право, смешно, Елена Воль...

Сильный шум, крики, свет гаснет.

Вскрытие показало: голубцы...

Происшествие

Она, видно, заблудилась. Большая такая, все знают, оранжевая снегоуборочная машина, из тех, что зовут «руками загребущими». Заехала в летний, уже шагнувший в осень, столичный город и заблудилась.

Странно было видеть ее среди пыльного асфальта и пожухлой на ветвях листвы. Она медленно двигалась при свете зажегшихся к ночи фонарей вдоль бульвара. Останавливалась и принималась скрести клещами по своему ковшу, требуя снега. Пускала голубой едкий дым и трогалась дальше, мигая желтыми лампочками, как они это делают, вгрызаясь в длинный сугроб, — а сзади пятится самосвал, принимая серый снежный поток в свой кузов. Только она была одна, и вокруг пусто. Даже и пешеходов почти никого.

Снегоуборщик свернул в большой переулок и пополз по нему, рыча и лязгая, тыкаясь в боковые проулки и заглядывая во дворы.

Мы шли за ним. Мы решили, что кто-то вспугнул его в логове, вот он и выбежал не в срок. Вроде поднятого зимой медведя, когда тот бродит, мыкаясь, по пустому холодному лесу.

Постояв в раздумье под фонарем, оранжевый пустил синюю струю, наддал газу и покатил, мигая желтым, в сторону Садового кольца.

После я читал в новостной ленте, что его видели на Ярославском шоссе. И я уже забыл про него, когда попалось сообщение, довольно старое, что диковину нашу заметили на трассе М8 «Холмогоры». На 467-м километре, за Вологдой.

Бугенвиллея

— Ох, — сказала жена, приподнявшись на пляжном лежаке и оглядев меня.

Я отлучился в бар за водой и теперь вернулся с двумя бутылочками. Она казалась испуганной.

— А я тут вижу, ты идешь... Но какой-то... ветхий, что ли... дряхловатый... — она сделала рукой неровное движение, как я по песку переставлял ноги. — Ох, думаю, не заметила, как он постарел... А это не ты, — она слабо улыбнулась. — Старик какой-то, похожий. — Она попробовала удивленно пожать плечом. — И походка твоя... Еще посмотрел на меня так странно. Вон от того домика в бугенвиллеях шел сюда к воде. Теперь, наверное, плавает.

И опять улыбнулась, но в глазах у нее прыгали... ну, как бывают солнечные зайчики, только темные, тревожные зайчики. Даже тряхнула волосами, чтоб их из головы вытрясти.

Алена Новикова

Выбор

Рассказ

Но молчи: несравненное право —
Самому выбирать свою смерть.

Н. С. Гумилёв

Это вовсе не так просто, как кажется.

Он опустился в кресло, зная, что подняться без посторонней помощи будет трудно. И когда это он, М.И.Зиглер, успел дожить до таких преклонных лет? Еще вчера был удивительно некрасивым мальчишкой с огромным носом и соразмерными планами на жизнь, которая разворачивалась перед ним во всей своей бескрайности, как поле колоссящейся ржи. Ему часто снились ржаные поля, когда он был маленьким — золотистое колышущееся море, которое он рассекает. Много позже кто-то сказал, что для индейцев рожь всегда была символом процветания. Дескать, он еще в детстве предчувствовал свой успех. Вот уж бредни. Он всегда смотрел на такие вещи со свойственным ему скептицизмом, к тому же к индейцам он имел такое же отношение, как, скажем, ко Льву Толстому. Что как не рожь может увидеть во сне сын бакалейщика?

И все же через пару лет он уже видел другие сны. Сапоги на три размера больше нужного, тонущие в вязкой грязи, разорванные рты, гноящиеся раны, молодые люди с выпирающими ребрами и пустующими рукавами, девушки с навсегда стертymi с лиц улыбками и будто присыпанными мелом волосами. Красные капли на свежей траве. Крик, крик, крик. Экспрессионизм как направление в жизни. Фантазия Верещагина, вышедшая за раму. Нет, в кино такого не покажут. Он это видел своими глазами, дурацкий длинный солдат, едва научившийся ходить строем, таращащийся на это inferno как будто через экран. Вот почему он тогда не сошел с ума: он старался не дать себе самому понять, что это происходит на самом деле, что этому не видно конца.

Тогда он и начал писать. В госпитале, разрабатывая левую руку — правая-то была на перевязи, — он долго мучил огрызок карандаша, по-дурацки описывая невиданные вещи, происходящие с невиданными людьми в невиданном мире. Хемингуэевская точность, дым сигар, разведчицы, похожие на Ингрид Бергман, предательство, блеск лезвия в желтой полуутьме бара и страсть на фоне марокканских пейзажей. Он был двадцатилетним дураком, а сигары и разведчицы помогали не думать о ноющих костях,

Алена Новикова родилась в 1999 году в Москве. Окончила МГИМО. Входила в длинные списки премии «Северная звезда» журнала «Север» в номинации «Проза». Рассказы печатались в журналах «Прочтение», TeensWrite. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

пустом желудке и тошноте от бесконечного созерцания чужих вывернутых кишок. Потом война закончилась, а глазастый рядовой Зиглер остался, и какая-то маленькая часть войны осталась с ним. Она напоминала о себе глубокой ночью, когда не спалось или когда в вагоне метро слышались стук квадратных каблуков и резкая немецкая речь. Кроме этой части с ним остались по-телеграфному короткие предложения. Разведчицы и Марокко изжили себя, а предложения остались. Потом они помогли редактору «Юности» выделить его рукопись из кучи других и заполнили книжные магазины и лавки тонкими брошюрами с его фамилией на обложке, а еще позже, благодаря им же, его имя в газетах ставили рядом с Вампиловым и Евтушенко, а вихрастые парни и девушки в роговых очках толпились у подъезда его дома с потрепанными копиями «Утёса» в руках.

Только теперь, когда Зиглеру семьдесят восемь, предложения никак не хотят друг за друга цепляться и уж точно не вернут желания завтра все-таки проснуться. Не вернут, хотя раньше всегда возвращали. Он все чаще думает о поступке Анны. А тут еще этот парень, музыкант. Зиглер потом нашел заметку в газете — оказывается, новое поколение его признавало своим голосом. Этот Егор со своими длинными спутанными волосами странного цвета, светлыми-светлыми, курящий сигареты одну за другой, признался, что любил бы фильмы Тарантино, если б в них не было так много крови, и что, принимая решения, всегда спрашивал себя, как бы на его месте поступил Христос.

— Иногда бывает непросто представить, — смущался Егор. — Вот, например, у него ведь не было соседей снизу.

Уходя, он помог Зиглеру выбраться из садового кресла — была осень, а сидеть подолгу на холоде ему давно противопоказано, — подарил новеньющую «Лейку» и смущенно попросил автограф.

— В эту сторону — я имею в виду, Вы мне, а не я кому-то — ужасно непривычно. Спасибо.

На «Лейку» он не сделал ни одного снимка, а вчера узнал, что Егор умер. Он как-то неудачно упал и проломил голову о бордюр. Украинка, которая помогала Зиглеру по дому, гладила белье перед телевизором, а он сидел рядом и смотрел, как роятся журналисты и полицейские и как отгорожен тротуар, на котором лежит тело Егора. Его светлые-светлые волосы намокли от крови. Ему было двадцать пять.

Семьдесят восемь минус двадцать пять будет пятьдесят три. Он под задержался. Зиглер провел пальцем по холодной глади ствола. Это один из парных пистолетов Анны, а другой она навсегда зажала в руке в своей спальне, как проклятая Гедда Габлер. Она и была Геддой, со своими тонкими злыми губами, независимостью, которой больше всего дорожила, и страстью что-нибудь разрушить.

В ее руке он обнаружил один из пистолетов, а в кармане нашлась записка. Он прочел голосом Анны, с издевкой: «Только не подумай, что это из-за тебя». Никто и никогда не имел над ней власти, а он, Зиглер, всю жизнь воображал себя Левборгом, хотя на самом деле был для нее всего лишь предсказуемым, скучным Тесманом со своими бесконечными переписываниями под настольной лампой, затворничеством, с их общим сыном. Она не любила детей, и Иван, пухлый и бестолковый, оставил ее безразличен. Пухлый и бестолковый ребенок затем превратился во вдумчивого молодого человека с феноменальными для своего времени взглядами, а сейчас-то о нем все не только говорят, но и пишут, да только Анна об этом никогда не узнает.

Он так и не сделал для нее ничего хорошего. Она согласилась с тем, что они должны пожениться, будто бы с неохотой, сразу предупредив:

— Только не думай, что я стану тебе Сниткиной.

Он потом всю ночь сидел в сочинском кафе, которое поближе к лету выставляет столы на набережную, таращился на море своими странными глазами, придававшими лицу будто бы всегда удивленное выражение, и рассказывал официанту, как она цитирует Сафо и стреляет в десятку, и что волосы у нее на висках и у лба совсем седые.

Он все-таки не зря вспомнил Достоевского. В шестнадцать лет Зиглер впервые достал где-то книжку этого бородатого пессимиста, и с тех пор его образы сами складывались в голове, как таблица умножения. Она не была Сниткиной, но, как Настасья Филипповна, швырнула для него в огонь свою привязанность. И он знал, чем это может закончиться, но все равно бросился доставать ее голыми руками, безо всяких щипцов.

Потом, как Анна застрелилась, он потерял контроль над собой. Бросил рукопись, над которой работал, предсказуемо начал пить. В баре на той же набережной и за тем же столиком требовал восемнадцатый неразбавленный виски. Столы, впрочем, менялись, как и женщины, и потолки над их головами, но Зиглеру почему-то казалось, что все это один день, который никак не может закончиться. А потом кончились деньги, и рукопись сдавать все-таки пришлось, и «Крик» даже кому-то понравился, написано вроде неплохо, только почему вот конец такой мрачный? Он и сам не мог ответить. Согласился расширить тираж, а, вернувшись домой, застал там человека, которого не узнал. Иван все это время переходил от одних родственников к другим, попал в монастырь, и что-то там такое с ним сделали, что он сидел в зиглеровской прихожей девятнадцатилетним взрослым с опущенным взглядом, а тихий мальчик, который везде таскал с собой тряпичную куклу, домой уже не вернулся.

Зиглер по-своему любит его и почему-то боится. Он никогда не чувствовал между ними связи. У него, такого урода, родился сын, который вовсе не был некрасив. Он все ждал, когда у Ивана проявится его кривая улыбка или странный излом носа, — эти искаженные линии, но теперь какая-то поклонница — вероятно, малолетняя фанатичка — пишет, что лицом он похож на казненного средневекового святого, хотя и богохульно так говорить. Хуже всего, что Иван и занимает это причудливое положение между простым смертным и святым — чудес никаких не творит, но и человеческого в нем маловато. Вещи, о которых он пишет, по-своему феноменальны. Сам он, кажется, последний из ныне живущих, кто не только следует заповедям, но и ужесточает правила какой-то своей системой ценностей. Женщин сторонится, никогда не возьмет предложенную сигарету, но когда в какой-нибудь старой часовне, до которой сорок пять минут добираться поездом, он стоит на коленях перед алтарем и губы его что-то истово шепчут, сразу понятно, что он не зря живет на свете.

Зиглеру не хочется признавать, но это больно ударило по его самолюбию, когда в прошлом месяце он по ошибке прочитал письмо, адресованное сыну. «Ваши работы, без сомнения, величайшее из того, что пишется в наше время», — писал неизвестный возбужденными каракулями. «Вас будут читать и через сотни лет, как Соловьёва и Спинозу». Дочитав до конца и обнаружив ошибку, Зиглер невесело усмехнулся и убрал письмо обратно в конверт. Когда-то объективные признаки — продажи, толпы у его парадного крыльца — питали его самолюбие. Он в глубине души, втайне от самого себя тешился мыслью, что в его деле ему нет равных. И кто же превзошел его теперь, когда он, казалось, отточил навык до совершенства? Его же сын. Глупая, злая ирония. Последний удар. В моменты отчаяния он прибегал к этой тщеславной надежде. Временами ему казалось, что одаренность может искупить его уродство, его испорченность. Как-то же нужно было доказывать людям, что он не хуже, что он тоже чего-то достоин. Он тоже человек, ему можно верить... Или? Печальное крушение в полуслаге от смертного одра. Некрасиво у немощного старика отбирать последнюю опору, но Ивана невозможно обвинять.

Зиглер едко улыбнулся. Наверное, он потерянный человек, но вместо того, чтобы гордиться своим нечеловечным безгрешным сыном, он чувствовал только горечь поражения. Подавляемую зависть. Презрение к собственной никчемной персоне. Вот так, Михаил Иванович. Вот что получаешь за годы стараний и поисков того, что не можешь назвать и что все время ускользает, стоит только протянуть руку. Ивану дозволено видеть то, чего он никогда не увидит, говорить то, о чем он никогда не смог бы сказать, но не потому ли, что он поместил Бога там, где Зиглер возвращал свою гордыню?

Он обыскал карманы неуклюжими, непослушными Шиле-шилейными-шилевскими пальцами, достал зажигалку, неспешно закурил. Пусть сигарета будет его прощальным желанием. Он не может позволить себе эту последнюю трусость. М.И.Зиглер, рядовой, смерти не боится. Если сейчас он отступит, это будет предательство. Он себе никогда не простит.

Он так часто бывал в одном шаге, что сейчас должен сделать его сам.

В огромном пустом доме на берегу холодного соленого северного моря он бездумно мерил комнаты шагами. В окно стучали сосны, а дом был проклятующе белый. Кровь на снежном полу расплывалась пятнами, похожими на алые маки, и он вдруг увидел себя со стороны: скрюченные пальцы, зажимающие лезвие, рассеянное выражение страшного лица, как у Офелии Милле. От ненависти и презрения к себе его тошнило.

Потом была русская ruletka среди пьяных рож, и его сокрушительное невезение. Открытый газ — он сидел босой, в льняной рубашке, в которой сам себе напоминал отдыхающего рыцаря Круглого Стола, и читал вслух «Беовульфа». Неудач больше, чем попыток. В этот раз он не может промахнуться.

Он все чаще видел перед собой глаза Анны, ее надменный рот, шепчуший одно и то же язвительное, хлесткое слово. Ничтожество. Издательство отказалось от «Семи», и он выбил кулаком все до одного стекла в своем автомобиле. Он вернулся под утро, и на предплечье зияли следы от ногтей. Он не знает, где Ваня так разбил нос, да, кажется, кровь идет, он опять брал его с собой в это место. Анна, Анечка, посмотрела бы ты на него сейчас. Он больше не так жалок, не так отвратителен, верно?

Опять это проклятое честолюбие. Кто же знал, что оно станет его гамартией. Ему всегда казалось, что где-то глубже, по-настоящему глубоко, что-то в его характере, в его душе искривлено, испорчено, — что-то ведь должно было породить такое уродливое лицо. Тщеславие — ну не смешно ли?

Он потушил сигарету, разжал сухие старческие губы. Его голос походил на шелест наждака.

— Горе мне, в этом слове я смерти моей приближение слышу, — пробормотал М.И.Зиглер.

Не он сам — его пальцы спустили курок. И раньше чем пуля достигла цели, он понял. Он уже делал это прежде. Это он подошел слишком близко к краю в «Утёсе». Это он был в «Крике», Vade retro, «Семи», во всех других. И только теперь ему удался конец.

Александр Климов-Южин

Не быстротечность минувшего года

* * *

Не быстротечность минувшего дня,
Не быстрина коловерти,
Невыразимость пугает меня
Больше обещанной смерти.
Что позабуду родимую речь,
Сгустком бесчувственным стану,
В стих мне уже не придётся облечь
Дерево, речку, поляну.
Рифмы уже не случится, бубня,
Плесть, порастая щетиной.
Поздно — из тела не высечь огня,
Ласки не взять от любимой.
Что мне заменит в бесплотных слоях
Хрупкие женские плечи?
Кто мне ответит в нездешних мирах
На семь вопросов наречий?
Где и куда? Почему и зачем?
Как и когда, и откуда?
Будь и с ответом, останусь ни с чем,
Без упований на чудо.

* * *

То ли не добрал немного,
То ли принял лишку:
Против кладбища домишкы,
Посередь дорога.
Распащенки, крики, дети,
Формочки, лопатки...
Вдоль дороги рыщет ветер,
А в земле — прабабки.

Климов-Южин Александр Николаевич — поэт, эссеист. Родился в 1959 году. Автор нескольких поэтических книг. Соучредитель газеты «Театральный курьер». Лауреат многих литературных премий. Живет в Москве.

— Ах, ты, выродок бесовский!
Матерь... что творят-то.
С укоризной старицкой
На дела глядят их.

И стучат в окошко кости,
Сгнили крышечк гвозди.
В снах к родным приходят в гости
Предки на погосте.

Что о прошлом сокрушаться,
Коли мир безумен,
И уже не разобраться,
Кто живой, кто умер.

Жизнь есть смерть, а смерть — начало
Новой, лучшей доли:
Оттолкнёшься от причала —
Ни войны, ни боли.

Провоняя свою берлогу,
Жили не тужили.
Пронесли через дорогу
И похоронили.

Так проходит род за родом,
Отложась оградкой:
Междудо кладбищем и домом,
Грядками и грядкой.

И не страшно, слава Богу!
Всё же не чужие.
И живут через дорогу
С мёртвыми живые.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Сколько ходил я иль ездил Большию Филёвской,
В синей лазури ребрились её купола:
И омрачённый при виде её улыбнётся,
И деловой на минуту отложит дела.
Грусти не ведают эти аркады, подклети,
Эти наличники, эти резные зубцы,
И разбегаются гульбищем резвые дети,
И у крыльца их в подмышки хватают отцы.
Кажется, небом и Богом самим позлащённа,
Церковь, как выдох легка, называлась Покрова,
И на парадные лестницы задолго до Камерона
Зодчим своим восходила дивиться Москва.
В стенах кирпичных Петровского чаю ботфорта
Или Бортнянского чаю вечерней порой,
Вижу в лепнине барочной причудливость фьорда,
Белой на красном, особо прекрасной зимой.

* * *

Ларисе Акулиной

Бутылка из-под кока-колы
Внутри с остатками дождя,
Тут куши барбизонской школы,
Мой друг, нам явно не сюда.
Уж слишком сумрачные тени,
Безоговорочен пейзаж,
Что до мигрени видит зренье
Реальность. Нам подай мираж.
Пойдём к ореховой поляне,
Где много света и травы,
Берёзы на переднем плане
Или, как там не назови,
Деревья: контуры размыты,
В переломленьях воздух чист,
Все частности до срока скрыты,
Мазки разбрасывает кисть.
Но в искаженье нет загадки,
А мир подробнее стократ;
Шажок — и солнечные пятна
Из пней, поросших мхом, торчат.
Мазок — и полные корзины.
Под Таблово, как в Фонтенбло:
Пленэр, Базиль, Моне, картины,
Опята, солнце... Повезло.

* * *

Я думал, это дождь прошёл,
А это человек
Прошёл под лета саундтрек,
Под гул июльских пчёл.

Проходит год, проходит век —
Покуда жжёт глагол,
Нет, не проходит человек,
Не сгнил его престол.

Но кто с лесах библиотек
На пыльный том набрёл,
Тот новой жизни предпочёл
Наш отстоящий век.

В нём память шарит из сусек,
И некто — длиннопол:
Я думал, это человек,
А это дождь прошёл.

Валентин Аноцкий

Эпоха № 6

Рассказ

Перестройке М.С.Горбачёва посвящается

Вечером, возвращаясь с работы, Иван Пантелеймонович Мямликов обнаружил в своем почтовом ящике записку. Почти по-детски четко, но по-взрослому твердо на ней значилось: «Бог есть». И больше ничего. Пацанва, недовольно подумал Иван Пантелеймонович и машинально, не привыкший сорить где попало, сунул записку в карман. Однако до конца своим предположением он не успокоился. Озорливых пацанов во дворе и в самом деле носилось немало, случалось, и журналы из почтовых ящиков вытягивали, и газеты подпаливали, но эти, скорее всего, написали бы: «Козёл ты, дядя Ваня». Или еще что-нибудь обидное и злое. Мальчишки в наше время стали злее взрослых, соревнуясь с ними на равных в оскорблении и жестокости. Мнительный в подобного рода делах, не упуская из головы этот случай, Иван Пантелеймонович согрел ужин, перед которым с большим удовольствием, в виде лекарства от всех напастей, выпил рюмочку холодной водочки. Лекарство помогло быстро, все проблемы уменьшились до мизерных размеров, а вскоре растаяли, испарились совсем: наступала самая лучшая пора суток — вечер дома после трудового дня. Он включил телевизор, чтобы не пропустить программу «Прожектор перестройки», которая ему нравилась больше выходящих на экраны сериалов. Потому что вместо брутальных итальянских мафиози в ней выступали такие родные, близкие и понятные свои чиновники разного уровня. Иван Пантелеймонович приготовил толстую тетрадь, скорее похожую на журнал приходов и отпуска товаров с какого-нибудь большого склада, чем просто на тетрадь для записей, и дождался начала передачи. На первой странице было крупно выведено: «Эпоха перемен». Так, по его мнению, должно было называться время, в котором они жили, и для фиксации всех подробностей этой эпохи он и записывал все истории программы «Прожектор перестройки». Ему казалось, исходя из всей предыдущей жизни, что ее все равно рано или поздно закроют, и тогда ни у кого ничего не останется, а он со своими документальными свидетельствами как раз и пригодится. Кому? Этого он пока предположить не мог.

Аноцкий Валентин Романович — прозаик. Родился в 1950 году в Горловке Донецкой области. Окончил Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков им. Хо Ши Мина. Печатался в журнале «Дальний Восток», автор сборников «Шестая степень защиты», «Гиппократово лицо». Живет в Санкт-Петербурге. В «ДН» публикуется впервые.

На этот раз программа особо не порадовала: какие-то мелкие, районного масштаба жулики что-то приписали, присвоили, суммы не радовали глаз — хотелось бы масштабнее. Но, следуя своей педантичной натуре, Иван Пантелеимонович все зафиксировал с точностью до копеек.

Не нарушая привычного порядка, он вытащил из книжного ряда на полке книгу наугад, чтобы почтить перед сном и этим закончить трудовой день. А день, по всему, заканчивался удачно: на работе он передал начальнику полугодовой отчет, который, как он надеялся, улучшит настроение начальника, а ему выпадет какая-никакая премия, а в следующем месяце ему поднесет энную сумму «черная касса», придуманная и одобренная всеми сотрудниками управления. Все шло накатанным чередом.

Он положил книгу на прикроватную тумбочку и тут же невольно вздрогнул, едва его взгляд упал на название: «Борьба с церковными предрассудками». Откуда она у него, он не помнил, но книга тут же напомнила ему о записке в почтовом ящике. Он не поленился, сходил в прихожую, достал из кармана пиджака записку и начал внимательно ее изучать. Из содержания, конечно, ничего нового не могло появиться. Но зато он понял, что почерк был совсем не детский, а скорее, наоборот, — старческий, слабый, как у человека, пишущего от случая к случаю, только в этот раз текст выведен с большим тщанием и аккуратностью. Это огорчило его — лучше бы это были пацаны — их логика и опасность были понятны. А если не пацаны, то желательно было вычислить автора и его цели. Взрослый, с повадками подростка, внушал темную, идущую из глубины подсознания тревогу. Иван Пантелеимонович напряг свой математический ум, просчитал варианты, затем достал обыкновенную тетрадь, освободил ее от металлических скреп и порезал все освобожденные листы на две части. По его быстрым расчетам, нужно было восемнадцать половинных листов. На каждом из них он четко написал: «Бог есть», вздохнул с облегчением и пошел почивать.

Утром, спустившись до первого этажа, Иван Пантелеимонович остановился у почтовых ящиков и в каждый бросил приготовленные с вечера записки. Дом их представлял старенькую пятиэтажку, восемнадцать квартир, так как на первом этаже было всего две. Почти всех жильцов он знал в лицо, хотя многих без имен, но здоровался при встрече со всеми. Изредка происходили естественные замены: недавно, например, умер мужчина на третьем этаже по неизвестной причине, еще не старик, а это означало, что неизбежно должны появиться новые соседи.

Из квартиры он вышел раньше обычного по двум причинам: во-первых, чтобы случайно не столкнуться с кем-нибудь из соседей; во-вторых, хотел до начала работы подойти к электрику Ивашкину. Вопросов по электричеству у него не было, но всем было известно, что Ивашкин являлся проповедником собрания баптистов, и именно с его второй ипостасью хотел переговорить Иван Пантелеимонович. На работе Ивашкин был как все другие мужики, только что не пил, не курил, не матерился. Работая, он тихо напевал себе под нос: «Я друга дивного познал, и есть ли в мире равный...», и на острые подковырки товарищей реагировал не с обидой, а с великодушным христианским всепрощением и мягкостью.

Ивашкина можно не вглядываясь различить за полкилометра: был он необычайно гружен, даже просто толст, с широкой темной бородой и такой же шевелюрой.

И сейчас Иван Пантелеимонович сразу выделил его фигуру на фоне местных построек и поспешил навстречу. Появившийся из-за угла балагур слесарь Пичугин не упустил случая покрасоваться перед слушателями.

— Ивашкин! — крикнул он за спиной Ивана Пантелеимоновича. — Народ интересуется, можно ли на чужом горбу в рай въехать?

Андрей Королёв

Два рассказа

Прибытие поезда

Где-то сипит невидимый поезд. Рельсы застывают, услышав обещание движения. Даже ветер останавливается, тяжело дыша. Чирулдэ высовывается из густой травы недалеко от железной дороги. Пшеничная макушка, дополнительные глаза на лбу — надбровные родимые пятна, два мягких угольных глаза, линия рта, угол носа, футболька воробышного цвета, застиранные штанцы. Сейчас он охотник, который приманивает тюленей, он вытягивает губы трубочкой и гудит в глиняную свистульку. «Уъ», — выдает глина звуковой крючок, готовый к добыче. Чирулдэ смотрит во все глаза — у путей кто-то стоит. Да, там щелкает ложкой какой-то мальчик.

Мальчик жадно ест кашу. Кажется, у него что-то с носом: он дышит переполненным ртом, поэтому каша каждый раз спрашивает, чего он хочет больше — есть или дышать. Тот что-то мычит и, еще пережевывая, неловко укладывается внутри железной дороги, как третий рельс. Поезд гремит уже слишком близко, чтобы остановиться, и тяжело проносится по рельсам. Чирулдэ не может оторвать взгляд от холодной тарелки, подрагивающей на земле.

Местные ребята называют эту игру «прибытие поезда», такой спор — треснешь или не треснешь. Большинство, конечно, выживает.

— Чин-Чин, пожалуйста, не ходи играть с ребятами к железной дороге, сегодня опять несчастный случай, — скажет мама вечером.

— Я туда и не хожу, — скажет Чирулдэ. — С ребятами скучно, они не хотят играть в охотников.

— Вот и хорошо. Поезд — это...

— Я сам поезд! — Чирулдэ побежит по их комнатке со свистулькой во рту — на диван, под стол, наискосок к двери, от двери к маме — и свернется на ее мягких руках.

— Ты моя птичка, — улыбнется мама и, как обычно, попросит сделать ей лечебную повязку на глаза.

Королёв Андрей Борисович родился в 1987 году в Уфе (Башкортостан). Окончил филологический факультет Башкирского государственного университета (магистр), работает журналистом в местных СМИ. Участник семинара Союза писателей Москвы (2018) и Форума молодых писателей России (2019), выпускник школы прозы «Глагол» (2020). Живет в Уфе. Это первая толстожурナルная публикация автора.

От железной дороги до дома недалеко — через ржавеющие гаражи да ворчащие трубы, из которых валит пар даже в теплую погоду. Первый дом за гаражами — пятиэтажка с трещиной, похожей на дерево. У входа сидит Выня и прогуливает свою ногу — черную, распухшую. Выня — пенсионер Иван Григорьевич, который долго и деловито готовится к смерти, любит поговорить о загробном мире с каждым встречным, по вечерам с подыванием кому-то молится. Несколько раз Чирулдэ подслушивал, но ничего не понял — молитвы текли, как грязная вода, да и слов в них как будто бы не было. Но задержаться около Выни всегда приятно: бесполезная осведомленность и деятельная растерянность придавали ему вид волка, который всю жизнь выл на луну, а потом вдруг на ней оказался.

— Нога как будто чернее, — говорит Чирулдэ.

— И пусть, это вообще не моя, — откликается Выня. — Это так, на память. Свою я выгодно вложил. Я рассказывал?

— Нет. Куда?

— Выгодно вкладываться сейчас можно только в смерть! Да и кто еще может вогнать такой черный цвет под кожу? Смотри, как переливается.

— А страшно было?

— О, до сих пор боюсь. Но лучше раньше начать — дольше проживешь. Завязываешь разговор, притираешься, сокращается дистанция, находите общий язык. Вообще смерть со всеми говорит, просто не все ее хотят слушать. И говорит она тихо-тихо, почти без слов. Кажется, даже сейчас...

Чирулдэ на всякий случай прислушивается — солнце растекается в небе, лениво вертится ветер, черная нога выгуливается. Смерти, кажется, нет.

— Почему — без слов?

— Ну вот ловишь ты рыбу на удочку, поймал — и удочку убираешь. Словами ты ловишь смысл — когда его поймал, слова можно убрать. Смерти слова точно не нужны.

— Точно?

К нему подбегает запыхавшийся мальчишка:

— Чирулдэ!.. Твоя мама... Врач в больнице...

Чирулдэ летит к больнице. Мама частенько жаловалась на глаза, что они болят где-то на глубине, у корней. Чирулдэ предполагал, что корни глаз и корни волос могли случайно перепутаться у мамы в голове и начать расти внутрь, но это было только в теории.

Врач курит у входа. У него гладко выбритая голова, похожая на яйцо. В последнее время, когда Чирулдэ ходил с мамой в больницу, это было яйцо, которое лежит на полке трещиной вниз, чтобы ее не было видно. Мама говорила, что это хороший врач.

Хороший врач к маме не пускает — нужен покой. Слова у него сухие и скованные, как плохая земля, поэтому Чирулдэ понимает только то, что маме надо делать операцию, может, повезут в другой город, это время, значит, надо быть сильным.

У Чирулдэ не получается быть сильным, что-то в нем перестает, как будто веселый кирпич из него вылетает и из этой дыры тянет ледяным сквозняком.

Домой не хочется, и Чирулдэ идет к Выне. Тот внимательно выслушивает. Особенно внимательно — про теорию спутавшихся корней.

— Да, тяжело, — уважительно говорит Выня. — Твоей маме нужны другие глаза, крепкие. Желательно железные. Чтобы ни одна болезнь не взяла.

— А где их взять?

— Даже не знаю.

— А может, у смерти выпросить?

— Ну нет. Нет, нет. Точно нет, — Выня молчит и гладит черную ногу. — Хотя, знаешь, может быть, да. Знаешь, да, определенно, да.

— А как с ней поговорить?

— Тебе нужен какой-нибудь очень шумный предмет, самый громкий у нас.

— Поезд?

— Да, поезд отлично подойдет. Будет проезжать мимо нас — прислушайся хорошенъко. Свист и лязг — это все лишнее, вроде панциря. Тебе нужно то, что под этим панцирем. Прислушайся — и сам все поймешь. Но помни — если она что-то даст, то что-то обязательно заберет взамен.

Чибулда кивает.

— И, если получится, спроси, как там моя нога. Все никак не привыкну.

— Хорошо. А можете повыть?

— Чего?

— Ну вы по вечерам воете, — Чибулда изображает ряд грустных воплей.

— Вообще-то это не вой, это... Ну да ладно, — и затягивает что-то длинным голосом.

Дома Чибулда ждет тарелка с остывшей кашей — видимо, мама успела приготовить. Он берет ее с собой в кровать и засыпает, так и не поев.

Чибулда просыпается и думает, что опоздал. Он хватает тарелку с ложкой и, на ходу перемалывая кашу, быстро идет к железной дороге. Где-то сипит поезд.

Чибулда вкладывает в себя остатки каши, как будто это что-то важное, отбрасывает тарелку и укладывается между рельсами. На свист поезда он отвечает охотничим свистком. От напряжения Чибулда его раскусывает, во рту шевелится картофель с кусками глины. Душно, тесно, пальцы холодные, уши заложило сердцем. Так проходит слишком много времени. Может, поезд уже проехал? Может, и правда — проехал?

Чибулда не выдерживает и поворачивается на спину, — и его с ревом накрывает поезд. Грохот отрубает всякую возможность слышать. Дикая тишина. Ее отчетливость пугает. Ветер так лижет лицо, как будто хочет его сожрать.

Чибулда вжимается в камни между рельсами и смотрит в бегущую над ним железную тучу. «Здравствуй», — слышит Чибулда, — «здравствуй», — железо поворачивает к нему свои черные умные глаза, — «здравствуй», — и протягивает к нему руки. Чибулда не отвечает.

— Пойдем, — гудит железо.

— Дай мне глаза, — говорит Чибулда.

— Дай мне глаза, — гудит железо и нагибается к нему.

В груди скапливается облако страха, и Чибулда выкрикивает его так, как никогда больше не закричит. Что-то обжигает голову Чибулда, он вскаивает, бьется лбом о лоб облака и теряет сознание.

Он просыпается в незнакомой комнате.

— Моя птичка, — подлетает мама и начинает щебетать. Чибулда понимает не все, как будто привычные буквы ленятся складываться в слова.

Чибулда трогает голову — она забинтована. Мама говорит, что кожа на лбу сошла, унесла даже родимые пятна.

В окно проливается рассвет. Чибулда смотрит на маму. Глаза у нее золотые — тяжелые, желтые, с металлическим отблеском. Даже слепит. Может быть, только пока.

Маншук Даирабаева

Между Европой и Азией

Рассказ

Каждое воскресенье мы ездим к родителям Алибека. У меня в руке пакет со сменной одеждой: халат и платок. Мой халат с длинными рукавами, чтобы скрыть татуировку на левой руке. Переступив порог, я сразу же кланяюсь всем подряд, потому что я — младшая сноха. Всё, что от меня требуется, — стоять у плиты до ломоты в ногах и обслуживать всех, кто есть в доме, включая кошку.

Первым делом я отправляюсь в летнюю кухню, где два старых холодильника, набитых мясом. Там же на полке стоит большая алюминиевая кастрюля для бешбармака. Я отбираю три огромных куска соленой конины и жирное кольцо қазы¹, кладу мясо в кастрюлю и, уперев ее в бок, несу в дом. Пока варится мясо, замешиваю тесто, деляю на три части и раскатываю так тонко, что просвечивают узоры на клеенчатой скатерти. От кипящей кастрюли и работы со скалкой мне становится жарко. Забывшись, я закатываю рукава, оголяя часть татуировки.

Приготовление национального блюда занимает три часа, а съедается за десять минут. После ужина свекор лениво ковыряет в зубах зубочисткой, свекровь громко отрыгивает, а я жду момента, когда можно будет убрать со стола, чтобы подать чай.

— У Алии сноха родила. Мальчика, — громко заявляет Раушан-апа, соседка, и косится на мою татуировку.

— Бауы берік болсын², — говорит свекровь. — Какие молодцы. Кажется, только вчера на свадьбу приглашали.

— А ваши чего ждут? — Раушан-апа обращается к свекрови, словно мы с Алибеком не сидим с ней за одним столом.

— Не знаю, два года чего-то ждут. Я, наверное, так и умру, не увидев внуков.

У младшей снохи за столом есть специально отведенное место: с краю, ближе к двери, — так удобнее вставать из-за стола.

— Чай будете? — спрашиваю я, не глядя на свекровь.

— Ты должна говорить мне: «Мама, чай будете».

Я молча встаю со своего удобного места, беру блюдо с недоеденным бешбармаком и направляюсь в кухню.

Маншук Даирабаева родилась в 1983 году, окончила факультет естествознания. Финалист фестиваля современной драматургии Drama.kz. Окончила мастер-класс прозы в ОЛША и литературный курс Ильи Одегова «Литпрактикум». Ранее нигде не публиковалась. Живет в Алматы.

¹ Домашняя колбаса из конины (каз.).

² Пожелание новорожденному крепкой связи с родней (каз.).

— Сәлем бер¹! — кричит мне вслед свекровь и добавляет вдогонку «дүбәрә²». Она говорит это слово достаточно громко, чтобы все за столом услышали.

На кухне я ставлю блюдо с недоеденным мясом на стол, достаю сигареты и щелкаю зажигалкой. Алибек входит следом, садится на стул.

— Мама увидит, — говорит он.

— Она мне не мама, — мои щеки горят. Я открываю окно, чтобы выпустить сигаретный дым, взгляд задерживается на ночном небе. Звезды над Атырау тусклые и мелкие, совсем не такие, как в Алматы. Он обнимает меня сзади, его дыхание щекочет шею. Я отстраняюсь. — «Дүбәрә» означает недоносок или дебил. Я гуглила.

— Нет, так называют тех, кто не знает родного языка. Тебе надо выучить казахский. Это же наш родной язык. Твой язык.

— Зачем?

— Ради меня.

— Нет, ради мамы. Мы ездим сюда каждое воскресенье. Сегодня сто второе.

— Если у мамы появится внук, она от тебя отстанет.

— Ты знаешь, я не хочу детей.

На кухню входит свекровь и с грохотом ставит чайник на плиту.

— Мам, оставь, — говорит Алибек. — Жания приготовит.

— Да разве от нее чая дождешься!

Сигарета догорает. Я вдыхаю последнюю затяжку, подхожу к свекрови и выпускаю дым ей в лицо. От неожиданности она закашливается и машет руками.

— Что ты делаешь? Алибек, твоя жена сошла с ума!

Свекровь визжит. Я молча наблюдаю, как муж встает между нами, переводя взгляд с меня на нее, словно не может выбрать, на кого смотреть. Я поднимаю руки, как сдающийся солдат, и отхожу в сторону. Свекровь с укором смотрит на Алибека, ее глаза краснеют.

— Жен у тебя будет много, а мать одна.

— Мам, ну что ты...

Пока муж кудахчет возле матери, я стягиваю платок с головы и, сложив треугольником, кладу на стол, сверху кладу обручальное кольцо. Затем выхожу в прихожую, беру пакет с одеждой, сумочку и ключи от машины. Я знаю, что он не пойдет за мной, и еще в этот момент я уже точно знаю, что больше его не люблю. Без любви мне не хочется угождать его матери, играя чужую роль. На место снохи подойдет какая другая: не имеет значения ни образование, ни социальный статус, ни внешность, ни профессия.

Мутный Урал делит нефтяную столицу на два континента: Европу и Азию. Я направляю машину к мосту и пересекаю реку, чтобы оказаться на левом берегу. Спустя три минуты я в Европе.

Стандартный номер в «Риксос» стоит треть моей зарплаты. Основной контингент отеля — канадцы, голландцы, итальянцы. Мне хочется увидеть другую картинку, заменить декорации и лица актеров, услышать речь на английском — на языке свободы и равенства, — поэтому я достаю карточку и оплачиваю одни сутки. Услужливость персонала я принимаю как компенсацию моих рабских воскресений.

Зеркало в номере во весь рост. Я оглядываю себя, словно вижу впервые. Мои волосы слиплись и плотно облегают череп после восьмичасового нахождения под платком. Мне хочется смыть с себя прошлую жизнь немедленно. Я принимаю горячий душ и достаю дежурную косметичку из сумки.

¹ Поклон невестки родственникам мужа (каз.).

² Недоносок (каз.).

Я звоню коллеге — голландцу Гейлу, который старше меня на двадцать лет и который смотрит на меня щенячими глазами. Мы ужинаем в ресторане на крыше отеля. Я заказываю морепродукты. Мне хочется съесть что-то, что не паслось и не умирало в моей стране. Я хочу поддержать разговор и говорю на примитивном английском. Чужой язык дается мне легче, чем родной. После ужина мы поднимаемся в номер, и я делаю первый шаг в новую жизнь.

Развод проходит быстро, за одно слушание. Детей нет, имущества тоже. Зато есть обиды, претензии, воспоминания и сто два воскресенья, потраченных впустую, — но судью это не волнует. Гейл ждет меня в машине. Я иду к нему в пальто нараспашку, курю, демонстрируя всему миру красные губы и красные ногти. Он везет меня в ресторан, заказывает шампанское, и дальше по кругу: поездки, рестораны, выставки, отели, подарки. Я упиваюсь новой жизнью и, кажется, никогда не насыщусь.

Мать Гейла зовут Маргрит, ей семьдесят четыре, и она курит тонкие дамские сигареты. У нее пышная прическа с высоким начесом, она напоминает мне злодейку из детского фильма про далматинцев.

К нашему приходу накрыт низкий столик в гостиной. На нем фарфоровый чайник с чашками, ваза с печеньем и сахарница. Я протягиваю будущей свекрови торт, который мы с Гейлом купили по дороге.

— Не стоило так утруждаться, — с улыбкой говорит она, принимая презент, затем целует меня в щеку.

Мы садимся на диван. Маргрит наливает по чашечке чая, а сама достает сигарету. — Ты не против? — спрашивает она.

Я говорю «нет», но я против. Потому что неделю назад отказалась от сигарет, алкоголя и вредной еды: мне хочется завести ребенка.

— У тебя экзотическая внешность, — говорит Маргрит, разглядывая меня без стеснения, — азиатская. Ты напоминаешь гогеновских таитянок.

— Из азиатского во мне только имя и скулы, — отвечаю я.

Мне не хочется быть экзотикой.

— Этого достаточно, — она улыбается. — Хочешь посмотреть фотографии Гейла в детстве?

Она приносит толстый альбом и садится рядом со мной на диван. Гейл новорожденный, Гейл в детском саду, Гейл на выпускном, Гейл, Гейл, Гейл...

Мы уходим от Маргрит в половине четвертого, потому что к четырем она должна успеть на встречу с подругой. Взявшись за руки, бредем вдоль канала по одной из главных улиц. Дойдя до водной станции, останавливаемся и смотрим на коричневую воду, на пришвартованные лодки, на проплывающий катер с туристами.

— У тебя милая мама, — говорю я Гейлу. — Кажется, она любит детей.

Не отводя взгляда от реки, он подносит мою руку к губам, целует.

— Я не хочу детей. Я хочу путешествовать.

* * *

В самолете холодно. Устав мерзнуть, я жму на кнопку, и спустя две минуты стюардесса приносит плед и горячий чай. На спинке кресла передо мной висит планшет. На экране всплывает заставка с картой, где пунктиром обозначен маршрут из Амстердама в Атырау. Грея пальцы о горячий стаканчик, я поджимаю под себя ноги, прижимаюсь носом к иллюминатору иглядываюсь в облака внизу.

Я лечу над Россией, где-то между Европой и Азией.

Татьяна Вольтская

Карусель времён

* * *

Берег пухистый, сухая трава,
Бледный ивняк, треугольные крыши.
Редкие листья горят, как слова:
Только что вышел за дверь говоривший.

И, продолжая в душе разговор,
Рядышком сели на доски сырье,
Глядя на птиц и захламленный двор:
Марфою — лето и осень — Марией.

Только что стряпала Марфа и в чан
Воду плескала, сестру торопила —
Да помоги ж! Но внимала речам
Тихо Мария — и вот уж стропила

Скрипнули — ветер сорвался с реки —
С Дона, Урала, Дуная, Невы — и
Стопкой легли шерстяные носки,
И повернулись круги годовые.

Вздрогнули Рим, Назарет и Москва,
Нижний Тагил, Иван-город и Нарва.
Медленно вертят свои жернова
Осень и лето, Мария и Марфа.

Вольтская Татьяна Анатольевна — поэт, эссеист, автор двенадцати сборников стихов. Родилась и живет в Санкт-Петербурге. Лауреат многих литературных премий, а также Пушкинской стипендии (Германия).

* * *

Всё неотступней позывные осени.
Деревья — горами: ущелья, осыпи,
В траву намокшую, канавы, лужицы
Листва бросается, надежды рушатся.

Когда просёлками деревья шествуют,
Невольно кажется — вот совершенство-то:
Опушки пёстрые — не будет лучшего,
Как после Пушкина, как после Тютчева,
И небо вышито косыми стаями,
До капли выжато — умри, Цветаева!
И после жёлтого куста неброского
Не будет лучшего — как после Бродского.

Деревья шествуют рядами ровными,
Светясь одеждами, блестя коронами,
Идут — иконными мужами, ёнами,
Чем совершеннее — тем завершённее.
В дрожащем золоте листвы материя,
Достигнув высшего — считай, потеряна,
Здесь

красота её со смертью сходится:
Туман, зияние и запах йодистый,
В глазах мерцание и в горле жжение —
Развоплощение. Преображение.

Как будто снова мы — листвою пылкою —
Скользим над речкою, над Монастыркою,
Дыханье лёгкое, и утки в заводи,
И ветка чёрная торчит, как заповедь.
Схватившись за руки, мы обойдём её,
И лица выгнутся кругами тёмными.

Как будто снова мы — но нет, не вижу я,
Тропа рассыпалась, и речка — лишняя,
А клёны красные стоят, распятые
На небе каменном горят стигматами.
Ухватишь воздуха губами жадными,
Заглянешь искоса в ладонь разжатую —
Как мало времени осталось, Боже мой! —
И лист осиновый, прохладный, кожаный.

* * *

Говорила мне мама — придётся же расставаться,
Я махала руками — и думать о том не хочется.
Как придёт тоска — ни в словаре, ни в святацах
Нет ни имени её, ни отчества.

А теперь и сама повторяю — не вечно же
Гладить мне ваши головы, сыновья мои.
Машут руками ясени — что за женщина
Ходит между нами, как пьяная,

Обнимает, гладит, ласкает нас,
Называет нас именами детскими,
Всё-то мало ей минут считанных, скаредных,
Всё не надышаться, не наглядеться ей.

Грузовик прошёл, байдарки в реке замаячили
Зелёные, голубые, красные,
Воздух дрожит от шёпота — мальчики,
Мальчики мои, золотые ясени.

* * *

Господи, скажи, что Ты есть!
Не благую весть,
Колокола, огни —
Просто мигни
Тёмному зверю,
Забившемуся внутрь —
В страхе, что вытащат и порвут,
Глухо рыдающему — не верю!
Положи руку на мохнатый лоб
И на холку, чтоб
Заснул, пока листья кружатся,
Чтоб, когда на дворе намётёт сугроб,
Не проснулся от ужаса.

* * *

Встретит меня Господь: устал от твоих грешков.
Ворох твоих стишков, всех твоих мужиков
Вместе с горой пирожков, не испечённых к чаю,
Я тебе прощаю, а замученных двух жуков
В спичечном коробке — вспомнила? — не прощаю.
Я их делал своими руками, тратил на них часы —
Как они скрипели, как дёргались их усы,
Как они вырывались — в траву, в кусты ли —
Но ты их не отпустила.
А ещё — торопила бабушку: доедай поскорее торт
С шоколадной глазурью — вспомнила? — вот он, тот
Кусок, для неё последний,
Но тебя уже дожидался дружок в передней. —
Этого не прощу —
и тут уж я всё пойму,
Повернусь и брошусь опрометью во тьму
Зимней ночи белой, а может, летней.

* * *

Благословенна карусель времён,
Бегущая быстрее и быстрее.
Велик январь, мерцает ёлка в нём,
Вся в мишурах. И кот на батарее.
Сухой февраль и запотевший март,
Как с холода внесённая бутылка,
Несвежий снег, как простыни, помят,
Но мы ещё сидим у печки пылкой,
И в нас ещё огонь не прогорел,
Коснёмся невзначай — и вспыхнем сами,
Метёт метель. Благословен апрель,
Увшанный дроздами, как часами,
Звенящими на разные лады.
Но ты послушай, руку мне сжимая,
Невнятницу пророческой воды,
Предсказывающей рожденье мая,
Поющего, как птица Гамаюн.
Прозрачные леса — в зелёной дымке.
Благословен рассеянный июнь,
В глазах — ночей нетающие льдинки.
Июль мы проведём на чердаке,
Бесстыжие, почти не одеваясь.
Всё кажется, что август — вдалеке,
Тяжёлый, золотой — да вот он, август,
Со звёздами, как царские рубли,
Разложенные в бархатном футляре.
Мелодия о смерти и любви
Уже слышна — ещё не доиграли,
А потому благословен сентябрь,
И первые краснеющие искры
Листвы, и по натянутым сетям
Паучьим — побежавший дождик быстрый.
Когда-нибудь, я знаю, от тебя
Не будет больше ни звонков, ни писем.
Благословенно пламя октября,
Кленовые костры, пустые выси.
Бог дал — Бог взял. Благословен ноябрь —
Мельканье чёрных веток, ягодицы
И локти разбежавшихся наяд,
Но нам с тобою плакать не годится.
Плыёт декабрь, как жертвенный овен,
Ему в колечки завивает выюга
Густую шерсть, и он благословен,
Его звезда сияет. Дай мне руку.
Год завершится, и начнётся год —
Ель до небес, огни, миндаль, корица,
И с батареи спрыгивает кот,
И тянется, и шерсть его искрится.

Публицистика

О пророках и предсказаниях

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

О тех, кто знает будущее

Дорогой Алексей,
я сейчас — о будущем, которое мы все ждем.
У каждого будущее — свое, личное, и для всех — общее.
И, конечно, каждому хочется знать, каким оно может быть — это наше личное, это наше будущее.

В начале девяностых годов прошлого века мой близкий друг Владимир Борисов, один из самых внимательных и вдумчивых исследователей отечественной и мировой фантастики, вел в одной из городских газет Абакана (Хакасия) рубрику: «Большой Всепланетный Информаторий».

Авторы у Борисова были всякие.

Однажды в редакцию приехал из близлежащего Минусинска исследователь (так он себя называл), открывший некий универсальный закон развития любого общества, закон, позволяющий говорить о будущем (и ближнем, и дальнем) совершенно конкретном, то есть этот неожиданный человек уже сейчас мог уверенно рассказать о том, что всех нас ждет в ближайшие тысячи, а может, и десятки тысяч лет.

На вид исследователю можно было дать лет шестьдесят, но энергии его хватило бы на троих. Худощавый, подвижный, он в свое время окончил Иркутский государственный университет, правда, диплома не получил — из-за постоянных трений с преподавателями (слишком горячо отстаивал свои идеи).

Впрочем, для человека, желающего совершенствоваться — отсутствие диплома не препятствие. Так он когда-то думал. В итоге, пришлось изучить жизнь со всех сторон: подрабатывал на заводе железобетонных изделий, не стеснялся дворничества, лишь бы иметь возможность работать над развитием своих оригинальных социологических идей. Случалось, даже распространял популярные журналы и брошюры, то есть продавал всю эту пеструю продукцию в электричках и автобусах, впрочем, никогда не забывая о своей главной миссии: открыть человечеству глаза на будущее. Борисову в его «Большой Всепланетный Информаторий» он принес статью, разумеется, с прогнозами будущего, потом еще одну и даже признался, что пишет большой роман. Понятно, научно-фантастический, поскольку у этого жанра много почитателей, особенно (что чрезвычайно важно) молодых. Борисова смелые

социологические статьи нового автора так впечатлили, что он дал ему мой адрес; в 1995 году в абаканском издательстве «Центавр» упомянутый роман был издан.

Так имя Альвиана Афанасьева пришло к читателям.

Книга его (нынче весьма редкая) называлась: «Третий виток спирали: Роман о третьем тысячелетии. 22-й век». Открывало ее обширное предисловие: «О, счастливчик!», написанное мною. И вот поразительная деталь: автор сам занялся распространением своей книги. Более того, весь тираж (а это три тысячи) сумел продать за несколько месяцев. Великий мечтатель в обычной жизни оказался суровым и непреклонным прагматиком.

Родился Альвиан Иванович Афанасьев в 1931 году в старообрядческой семье (отсюда его необычное имя). Окончил Черногорский горный техникум в 1950 году, с 1961 года работал инженером в Якутии (трест «Якутзолото»), участвовал в разработке известного проекта «Город (заполярный) под куполом». С 1965 года, как уже упоминалось, учился в Иркутском государственном университете, даже окончил его как «социолог-прогнозист», но диплома не получил — за свою (как бы несвоевременную) оригинальность. Не раз пытался Афанасьев заинтересовать своими идеями ученых новосибирского Академгородка, но понимания ни у кого не встретил, хотя неофициально к работам Афанасьева относились с интересом.

Из переписки Афанасьева.

«Рим, 18 марта 1983 год.

Уважаемый сеньор Афанасьев.

Ваша концепция перехода человечества к формации постиндустриального общества глубоко взволновала меня. Она могла бы стать сенсацией мировой науки. Но при одном обязательном условии. Если бы Вы указали те социально-политические силы, в чьих интересах реализовать вашу методическую перспективную стратегию. Увы, мне лично выполнить это решающее условие тоже оказалось не по силам.

С уважением — А.Печчини.

Для справки: Aurelio Peccei (1906—1984) — известный итальянский ученый и общественный деятель, основатель и первый президент Римского клуба, исследовавшего глобальные модели развития человечества.

Второе письмо.

«Москва. 8 марта 1985 года.

Уважаемый Альвиан Иванович,

...поднимаемые Вами вопросы веками обсуждались в соответствующей литературе.

В частности, существует гора литературы по детерминизму, из которой яствует, что будущее вовсе не предопределено наперед в деталях какими-то естественными или сверхъестественными силами, что оно определяется диалектическим единством объективных тенденций (закономерностей) и субъективных усилий людей, что попытки безусловных предсказаний (вроде делаемых Вами) вызывают эффект так называемого самоосуществления или саморазрушения прогноза ("Эффект Эдипа"), и что, в отличие от Тацита, каковы бы ни были его помыслы, современное человечество — тем более, вооруженное марксизмом-ленинизмом — не будет сидеть сложа руки в ожидании любого напророченного ему будущего и безусловно не потерпит никаких пророков.

Короче говоря, в моем поле зрения не имеется ни одного рецензента, и тем более редактора, который дал бы "добро" на публикацию столь сенсационных (мягко говоря) для марксистской литературы вещей. Для большей объективности такой оценки я попробую дать почитать Ваш текст нескольким наиболее либеральным из них. Но заранее представляю их реакцию. (*Приписка на полях, видимо, письмо некоторое время лежало на столе автора неотправленным: "Да, реакция резкая".*)

С уважением — И.Бестужев-Лада».

Для справки: Игорь Васильевич Бестужев-Лада (1927—2015) — советский и российский историк, социолог и футуролог, специалист в области социального

ГЛАЗАМИ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Анна Воропаева

Заметки лаовая¹ о жизни в китайской деревне под Уханем до пандемии

Слово «Китай» часто звучит в нашей повседневной жизни. В новостях говорят об экономической мощи КНР; русские туристы из Приморья не прочь съездить в приграничные города Хуньчунь или Суньку² отдохнуть на выходные; все больше молодежи едет в Китай за высшим образованием, стремятся получить гранты на бесплатное обучение в аспирантуре; любителей же храмов и красивых пейзажей Китай привлекает пагодами, секретами Шаолиня³, горами Аватара⁴ и многое еще. Но по сей день существуют у нас и граждане, которые полагают, что китайцы — это «капитана» и «куни»⁵, которые отлавливают кошек по зимним подворотням русских городов в качестве любимого деликатеса.

Каков же Китай на самом деле? Для всех он разный. Я хочу поделиться с вами своим Китаем.

Мой молодой человек — китаец. По-русски его зовут Сеня (по-китайски Ян Сянь). Он предоставил мне уникальный шанс побывать в самой что ни на есть обычной китайской деревне под городом Ухань провинции Хубэй, где живут простые крестьяне и рабочие, основная движущая сила Китая.

Видение мира местных жителей очень отличается от нашего, оно определяется своей особой китайской логикой, не такой, как у нас, но кто сказал, что так нельзя?

Воропаева Анна Владимировна — китаист. Родилась во Владивостоке в 1983 году, окончила факультет востоковедения ДВГТУ по специальности переводчик китайского языка и магистратуру Университета иностранных языков в китайском городе Далянь. Более 10 лет прожила в Китае. В настоящее время живет во Владивостоке, работает переводчиком и преподавателем китайского языка, занимается научной работой в соавторстве с Ян Сянем.

¹ Иностранец (кит.).

² Так по-свойски называют наши соотечественники китайский город Суйфэнхэ.

³ Знаменитый буддийский монастырь в Центральном Китае.

⁴ Чжанцзяцзе — национальный лесной парк в провинции Хунань, признанный ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Парк примечателен большим количеством пиков-столбов из песчаника и кварца, самый живописный из них, Колонна Южное Небо высотой 1080 метров, в 2010 году официально был переименован в Гору Аватар-Аллилуя в честь известного фильма «Аватар». Создатели фильма заявили, что на создание летающих скал их вдохновили горы, находящиеся в парке Чжанцзяцзе.

⁵ Форма вежливого обращения китайца в дальневосточной России к женщине. Вероятно, искаженное китайское «гунян» (девушка, барышня).

День первый: пять утра пора вставать!

Около часу ночи мы наконец погрузились в истому сна. Разбудил нас звонок, на улице было еще темно. Оказалось, уже утро и звонил телефон Сени. Это была его сестра, они с мамой решили, что мой первый день в деревне неплох для выезда в город, и разбудили нас в 6, назначив выезд на 6.30.

Для китайских женщин в деревне подъем в пять часов считается нормой, в шесть — уже, можно сказать, лентяйка. Поэтому ложатся китайцы в деревнях часов в 7—8 вечера, как стемнеет. Неплохой режим, экономит электричество, да и холод собачий вечером, отопления в домах на юге нет, поэтому даже 0 градусов на улице довольно ощутим в доме. Самое то, чтобы в семь часов залезть под одеяло, укутаться, высунив только нос, и окунуться в царство Морфея.

Так вот, сестра сообщила, что муж едет на работу в город и она с удовольствием отвезет нас на рынок купить одежду на китайский Новый год.

Китаянке в деревне не понять, что полчаса для русской женщины с утра — это ничто, тем более после перелета, бессонной ночи в аэропорту в ожидании начала работы общественного транспорта, скитаний по пекинскому метро, пятичасового переезда на скоростном поезде до Уханя, часа езды в уханьском метро в жуткой толкучке и потом еще часа — на машине до деревни, с кучей чемоданов и сумок. В общем, полностью разбитый человек. А как же волосы, макияж? У азиатов есть такая привычка: они особо не заморачиваются, могут спокойно выйти на улицу не умывшись и, придя на пару в университет, чистить зубы прямо в аудитории перед звонком. В общем, в планах мы не сошлись, поэтому пришлось сестре ехать в город одной.

Позже я осведомилась у Сени, почему у его сестры такая навязчивая идея накупить мне одежду? Мне бы и в голову не пришло покупать одежду малознакомым людям, ведь у каждого свой вкус. На что Сеня ответил: потому что сестра решила, что твоя одежда некрасивая. Я с удивлением посмотрела на Сеню и переспросила: «То есть моя одежда известных брендов, стоящая, кстати, недешево, не отвечает утонченному деревенскому вкусу китайцев?» Сеня, выразив полное согласие со мной, ответил: «Пусть дарит, скажи "спасибо" и убери в шкаф».

Немного о китайской моде: те, кто был в Китае, меня поймут. Я не говорю о крупных городах вроде Шанхая или Гонконга, где имеют представление о моде, хотя и там, как везде, встречаются фэшн-провалы. Я говорю о китайцах, принадлежащих к среднему классу, которые никогда не выезжали за пределы родной страны. Китайская мода это: стразы, Микки Маусы, странное сочетание цветов, бантики и бабочки, — и все это никакого отношения не имеет к детской одежде. Можно увидеть женщину сорок плюс, которая одета в футболку с Микки Маусом на груди и кепку с ушками котика; или мужчину с приличным пивным животиком в обтягивающей розовой футболке с изображением Скуби-Ду.

На вопрос, почему взрослые люди носят такие странные вещи, Сеня сказал, что таким образом они пытаются выглядеть молодо! Один из примеров сестринской заботы о брате: когда полгода назад Сеня собирался вместе со мной в Россию знакомиться с моими родителями, сестра прислала ему по почте одежду: обтягивающие розовые бриджи и белую футболку, на которой красовался золотой Король Лев.

Думаю, вы поняли мою глубокую обиду на комментарий сестры по поводу моего гардероба. Но, поразмыслив, я решила отнести к нему философски и поблагодарить за подарок, сделанный от всего сердца. В конце концов, кто сказал, что мода должна быть такой, как решили Версаче и Донна Каран? Поэтому я на время сдалась китайским родственникам, дабы не сетовали на строптивую невестку.

* * *

После отъезда сестры мы, полежав полчаса, встали. Я сразу же осведомилась, где здесь «дамская комната». Ею оказался обычный деревенский туалет, как и у нас в деревнях: дырка в полу, и запах ничем не отличается.

Очень хотелось умыться и выпить утренний кофе, но не тут-то было: с улицы раздались громкие звуки барабана. Оказалось, что у кого-то свадьба, понеехало много машин с красными бантиками и ленточками; пять девушки, одетых в красные национальные костюмы, с барабанами, беспрепятственно вошли на территорию нашего дома и спросили, где здесь туалет.

Только к вечеру, гуляя по окрестностям, я поняла, что в китайских деревнях все устроено не совсем так, как у нас. У них нет заборов вокруг участка земли, на котором стоит дом, все разбросано и разрознено: трехэтажный дом снаружи выглядит довольно внушительно; низенькая старенькая кухонька — обычно пристройка к дому; вниз по дорожке — туалет, три этих строения соединяют тропинки, они общедоступны, и соседи могут свободно ходить по ним. И огород какой-то странный: тут кусочек, потом чай-то еще огород, потом опять твой, а где-то через пару километров еще кусок твоей земли.

На мою робкую просьбу «умыться бы» Сеня ответил, что успеется, и повел меня на экскурсию по дому. Опухшая спросонок, я подумала: «Это Китай, детка, расслабься», — и последовала за ним.

Сеня потащил меня на второй этаж, откуда с балкона открывался вид на деревню. На солнышке, ожидая своего «новогоднего банкетного часа», сушились вяленые тушки курицы.

На первом этаже живут мама с отцом (который обычно на заработках и бывает дома очень редко) и внучкой, напротив них расположились мы. Комнаты большие, светлые, но, на мой взгляд, очень неуютные. Белые голые стены, бетонный серый пол, старенькая мебель.

На втором этаже планировка оказалась та же: одна комната, принадлежавшая старшему брату Сени с женой, была заставлена всячими коробками, на стене — большой свадебный портрет. Китайцы очень любят вешать огромные свадебные фотографии.

В комнате давно никто не живет, брат зарабатывает деньги в городе, они снимают там квартиру, как большинство молодежи в Китае. Так же, как и старшая сестра с мужем. А сын сестры и дочь брата остаются на попечении бабушек в деревне. Считается, что забота о детях дочери берет на себя семья мужа, а о детях сына — семья сына. То есть, дети принадлежат семье мужа.

Огромный пласт китайского общества — это выходцы из деревень. Молодежь всеми правдами и неправдами пытается вырваться в город, получить образование, найти хоть какую-нибудь работу, лишь бы не возвращаться. В общем-то, как и в России. В деревнях остаются в основном старики и дети. Но что отличает наше общество от китайского, так это то, что у нас есть выходные. Китайские трудящиеся работают семь дней в неделю без отпусков, еще и сверхурочно. Все для того, чтобы выжить в городе и прокормить и выучить детей.

Получается замкнутый круг: надо найти работу, выйти замуж, родить ребенка. Соглашусь, неплохой план жизни, но у родителей нет возможности самим заботиться о детях и воспитывать их, и детей отправляют на попечение дедушек и бабушек в деревню. В результате некоторые родители видят своих чад только на китайский Новый год, во время всеобщих официальных каникул, которые делятся целых десять дней. Спрашивается, зачем же рожать детей, если ты их видишь раз в год на праздники?

Впрочем, это не про нашу семью, здесь все более или менее хорошо. Мама с папой работают, но деревня всего в часе езды от города, поэтому есть возможность видеть детей чаще.

«Побольше ешь!», или Китайский завтрак

Те из лаоев, кому приходилось завтракать в китайских семьях, меня поймут. Китайский завтрак разительно отличается от русского. На столе нет ни колбасы, ни бутербродов, ни обезжиренных йогуртов с овсянкой, яичницу тоже редко встретите. Кофе и сыр в китайской кулинарной практике вообще отсутствуют. Сыр, как сказал Сеня, похож на соленый ластик. С тех пор каждый раз, жуя сыр, я вспоминаю школьные годы и ластик. А кофе, по мнению Сениного малолетнего племянника, — это горькая вода. Мальчик в силу возраста открыт изучению нового и, так как первый раз видит иностранца, пытается подражать: он все-таки допил «горькую воду», изображая знатока-джентльмена и смачно причмокивая после каждого глотка.

Понятие «здоровое питание» в Китае так же сильно отличается от русского. На столе появились разнообразные блюда: рыба, мясо, диковинные овощи, неведомые русскому, и, конечно же, рис. Было вкусно, но китайцам свойственно все жарить на быстром огне в море масла, поэтому не могу сказать, что «здорово». Впрочем, мясо и рыба на столе в деревне появляются крайне редко, только по особым случаям, когда приезжают гости. В остальное время сельчане обычно обходятся зеленью, овощами и рисом.

Китайцы едят очень много. Одна худенькая китаянка может умыть две огромные чашки риса, закусывая овощами, тофу и разнообразной зеленью, а под конец еще и «залить» все рисовой кашей. Куда это все девается — тайна китайских женщин. Мне же каждый раз говорят, что я ем мало и что «так долго не протянешь». Русский человек, если будет есть столько, сколько едят китайцы, недели через две в дверь не пройдет.

Еще одна странная особенность: китайцы в деревне практически никогда не едят вместе, за одним столом. Разве что на китайский Новый год. Обычно каждый хватает по чашке риса, накладывает сверху овощей — и кто куда: кто ест стоя, кто сидя на корточках или низкой табуретке, кто беспрепятственно разгуливает с тарелкой по деревне — по тем самым общедоступным дорожкам, заходя к соседям посплетничать. Поели — и каждый по своим делам. И да, все кости и обедки бросают на пол. Мне посоветовали делать так же, но у меня не поднялась рука. После еды все это подметается с бетонного пола — и вроде чисто.

Память о предках

Гуляя по деревне, обнаружила интересное и, я бы сказала, отражающее суть жизни простых китайцев явление. «Пошли погуляем, я тебе покажу деревню», — предложил мне Сеня, и я с радостью согласилась.

Китайская деревня — это двух-трехэтажные здания, построенные из подручного материала, то бишь из глины и камня, если повезет, — облицованные белым кафелем, если нет, то и так сойдет. Любой клочок земли занят под огороды.

Каждый сезон китайцы выращивают соответствующие овощи. Зимой — это в основном лоба¹, капуста и очень интересный овощ цхай тхай: ботва похожа на нашу свеклу, но только она и съедобна. Стебель сладкий, бордового цвета. Когда его жарят, он приобретает изумрудный оттенок. Вкусная штука, но для непривычного человека может поначалу показаться странной.

Есть в деревне своя лечебница и даже спортивная площадка со всякими снарядами, — можно покачать пресс или подтянуться. Повсюду бегают куры, но это,

¹ Разновидность редьки.

Культурный слой

Наталья Аришина

Воспоминанья зарифмую

Записи на ходу

Глава первая

Утро. С погодой — не совсем ясно. Все окна нашей с Ф. квартиры выходят в переулок и упираются в два неоднократно на нашем веку менявших свой облик дома. Тот, в котором жил главный редактор «Воплей» (журнал «Вопросы литературы») Лазарь Лазарев и в который наведывалась наша с Ф. подруга, Таня Бек, кажется нам глухую когда-то часть боковой стены. К ней примыкает здание бывшего Минтяжмаша. Наш с Ф. дом — «литературный». В тридцатые годы уже прошлого века три этажа стойкого старинного подворья надстроили двумя этажами под кооператив драматургов. Знаменитости давно вывелись, и теперь литературу представляют только Ф. и я.

Не то чтобы я прячу своего спутника за литерой. Так привыкла именовать в записных книжках. Пусть будет Ф. Мы сопутствуем друг другу много лет: в будущем году прозвенит немыслимая круглая дата. Не хочу озвучивать заранее.

Я много чего не хочу озвучивать по разным причинам. И за перо взялась с неохотой. Конечно, не за перо, а за комп. Всему виной карантин и фейсбук, на котором я имела неосторожность объявить о наличии заполненных «мировою чепухою» (так говорил Блок) записных книжек. И даже описала некоторые экземпляры писчебумажных шедевров, подаренных знающими толк в красоте подругами.

Записные книжки, блокноты, рабочие тетради скопились с тех пор, как появилась московская крыша над головой. Систематические, хотя порой и бесполковые записи тянутся с 1980 года. Черные чернила случайных авторучек и наработанный ими с трудом отмывавшийся мозоль на среднем пальце исчезли, уступив место любимому и долговечному темно-лиловому паркеру с кнопочной подачей стержня, черной пастой и золотой стрелкой-держателем. Он и сейчас со мной и естественным образом попал в стихи.

Память всегда выбирает от слова «чернила». Бабка моя закидывает густо-фиолетовые таблетки в приспособленный для этих целей медицинский флакон с хорошо притертой пробкой и разводит чернила такой густоты и фиолетовости, что они, высыхая на бумаге, отливают золотом. Для деда, доктора, и для меня, школьницы. Деду чернила наливаются в хрустальный кубик со вставной емкостью и крышкой-куполком, на которой поблескивает бронзовая змея, отполированная его пальцами. У меня — фаянсовая непроливайка, которую я ношу в вязаном чехольчике, затянутом шнурком. Сначала футляры вязала бабка, а потом и я научилась сносно вязать всякую мелочь из гаруса, орудуя крючком. Перья да и ручки у нас с дедом были разные. Его

Журнальный вариант.

перо называлось «скелетик», а мое — № 86. От дедовой ручки пахло сандаловым деревом, а я свои вставочки вечно теряла. Судя по всему, и Евгений Евтушенко писал 86-м:

А мне исполнилось четырнадцать.
Передо мной стоит чернильница,
и я строчу,
 строчу приподнято...
Перо, которым я пишу,
сuroвой ниткою примотано
к гранёному карандашу.

Выглядываю в окно.

Мансарда над бывшим Минтяжмашем в нетронутом снегу. По ночам снег сгребают и сбивают сосульки двое таджиков в оранжевых робах. Работают шумно, страховки не видно. Заходят с разных концов, идут по самому краю, лупят по водосточным трубам, по гирляндам и громко перекликаются. Сосулек не появилось, но они их «сбивают».

Мы с Ф., оба неместные, по стечению обстоятельств поселились здесь 33 года назад (опять запоминающаяся дата!). В том, что мы на излете перестройки вселились в эту квартиру, напоминавшую тогда бомжине логово, повинна я одна. Ф., завидев ветхий фасад, с которого осыпались кирпичи, наружный ржавый лифт с кабинкой вроде тюремного бокса, облезлую, не единожды взломанную дверь квартиры, на которой красовался № 13, хотел дать задний ход. Мне удалось его удержать. Внутри квартиры две изолированные (!) комнатушки, висящие гирляндами провода, среди которых — оборванный шнур от радиоточки, а самое отрадное — наличие вожделенной проводки для телефона, без которого мы ухитрялись обходиться все эти годы. Предстояло «достать» унитаз, ванну, газовую плиту и колонку. Все это называлось «косметический ремонт». Он тянулся три месяца. Но у нас обоих уже начали выходить книжки, и за переводы стихов исправно платили. Казалось, что вот-вот...

За несколько лет до вселения на Кисловку нам с Ф. уже выпал шанс въехать в настоящую Москву. Союз писателей выдал двум обладателям писательских билетов ордер на квартиру. Писательский билет в те времена дорого стоил — давал право иметь дополнительные метры в качестве рабочего кабинета и даже, если повезет, на обладание казенной дачей. На дачу мы не замахивались. Радовались перспективе проводить 24 дня в году в коктебельском Доме творчества.

Квартира была хоть и не новая, но в престижном доме сталинской архитектуры на Фрунзенской набережной, с магазином игрушек и товаров для детей под названием «Тимур» и отделением милиции на первом этаже. В новую эпоху нашим соседом был бы журнал поэзии «Арион». Завидное помещение в соседнем доме получил для своего детища основатель и главный редактор Алексей Алёхин. Это стоило ему десятка лет неустанных хлопот и, надо полагать, большой кровушки. Слава Алёхину и «Ариону»! Журнал цвел 20 лет. Увы, недавно закрылся.

К радости обладания примешивалась немалая доля грусти. В квартире жила и ушла в мир иной бывшая голливудская звезда и дочь писателя Куприна, Ксения. С несметным количеством кошек. Ксения Александровна умерла, а усатых-полосатых выгнали вон. Хорошо, если они обосновались на ближайшей помойке.

Писатель-юморист Рейжевский, который слыл в литературной среде знатоком квартирного вопроса и вплотную занимался им в московском Союзе писателей, посоветовал Ф. не медлить со вселением. Ф. последовал его совету. Среди наших друзей обладателем тачки был один Даниил Чкония, он родился за баранкой. Ф. сидел с поэтом Анатолием Брагиным за столиком ЦДЛ. При нем была раскладушка. Чкония прихватил Ф., Брагина и раскладушку, и они поехали на Фрунзенскую.

...Ключа Ф. не выдали. Толя одним рывком открыл опечатанную дверь. Квартира была темноватая, окнами во двор. Вместо свежести Москвы-реки на трех поэтах пахнуло звериным логовом. Изодранные обои, пропитанный едкой кошачьей мочой паркет. Вместо двух обещанных комнат имелось всего полторы: комната и не очень вместительная ниша — альков. Сюрприз. Но не последний. Через несколько минут появился милицейский наряд, сопровождаемый двумя очень возбужденными дамами. Началось выяснение, кто есть кто. Ф. гордо предъявил ордер. Брагина представил слесарем, а Чконию — личным шофером. Разборка длилась недолго. Дамы были не прекрасные, но непростые: вдова и дочь генерала Доватора. Поселиться по соседству с заслуженной матерью собиралась дочь. У нее имелся ключ от квартиры Ксении Куприной. И ордер. Выданный на несколько дней позже, чем наш.

Поэты малодушно ретировались, прихватив раскладушку. Она потом много лет служила нашим гостям уже на Кисловке. ЦДЛ был в шаговой доступности, оттуда часто забредали засидевшиеся поэты.

В свою теперешнюю квартиру № 13 мы вселились через пять лет после описанного инцидента.

Вирус приневолил к жизни взаперти. Сидя в четырех стенах, мысленно двигаешься не вперед, а назад: последняя наша Ялта была в 2019-м, близкие к итоговым книжки вышли — и у Ф., и у меня — в 2019-м. Его «Разумеется, оплачено» и моя «Общая тетрадь». Собраны и свалены в кучу черновики, дневники, записные книжки. На досуге вспомнено про четыре не изданных книгами романа Ф. (опубликованы в «толстяках»). И один — моего пера. Разобраться бы с этим. Страшно. Малодушно начата новая рабочая тетрадь, проставлена дата. В голову лезет всякая чепуха и отвлекает от неизбежной возни с прошлым. Один шаг вперед — три шага назад.

Сегодня я вырвалась в цирюльню. Это парикмахерская недалеко от Киевского вокзала называется «Цирюльник». Те, что в шаговой доступности, не по карману. Такой уж ареал. Впрочем, не факт, что дорогие мастера лучше Юли. Надо же так называть: «Цирюльник»... Пока Юля закрашивает седины, я, держа карманную записную книжку на отлете, чтобы не мешать, зачитываю «скомороший присказ», выписанный специально для нее:

Бреем, стрижём бобриком-ежом,
Лечим паршивых, из лысых делаем плеших,
Кудри завиваем, гофре направляем,
Локоны начёсываем, на пробор причёсываем.
Парик промоем, кровь откроем.
Мозоль подрежем, косу купим и срежем.
Мушки kleим, стрижём да бреем.
Банки, пиявки, набор трудной травки.

Юля родом из Элисты, там живет с мамой ее сын, она их кормилица. Окончила художественное училище, чувство цвета у нее безошибочное. Похожа на девочку, тоненькая. Не люблю никого ни с кем сравнивать, но придется признать: похожа на актрису Чулпан Хаматову.

Юля сбежала в Москву от мужа-калмыка.

Я рассказываю ей, как еще не так давно уличные цирюльники в первопрестольной таскали в руках ящик с инструментом и парфюром, а на шее — деревянный стул. Профессия из древнейших. Средневековый цирюльник — тот же врач общей практики. Каантин тоже оттуда, из Средневековья: *guaranta giorni*, сорок дней. Столько у итальянцев длился чумной карантин. Ковид, можно сказать, приложение к основной проблеме. Целый год живем в непривычном для нас режиме. Но пока не хочется этот год выворачивать наизнанку. Живем дальше.

Связка рецензий

Александр Чанцев

Еcomium musicae, или Молекулы музыки

В нашей очередной подборке три книги о музыке — и, конечно, далеко не только людей, которые не боялись высказывать свое мнение во всей его противоречивости. Не боялись они и такой глубокой насыщенности своих текстов, что вряд ли могло обеспечить им статус бестселлеров.

Если оперы стало писать сложнее,
это не значит, что писать их стало невозможно.
Это было бы так, только если бы мы
совсем перестали верить в свободу воли и личности.
Каждая правильно взятая высокая нота
разрушает теорию о том, что мы безвольные куклы,
ведомые судьбой или случаем.

Чистен Хью Оден. «Рука красильщика и другие эссе»

Скромность познания

Беседы с Альфредом Шнитке: Составление, предисловие А. Ивашкин. — М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2021. 320 с.

Переиздание классической, уже можно сказать, книги о Шнитке. Что это книга о Шнитке, также можно сказать потому, что, кроме собственно бесед с композитором, сюда входит довольно много материалов: различные тексты как самого Шнитке (речи, заметки, статьи), так и о нем — мемуары (один трогательный Ростроповича чего стоит), а еще каталог сочинений, список статей и интервью. Книга впервые вышла в 1994 году, затем переиздавалась и переводилась вплоть до Японии, но новый выход книги имеет явную ценность: и книги, не проходящие по ведомству «новинок», у нас приобрести в последнее время все сложнее, и самого Шнитке у нас играют вполне регулярно.

Тем более что и Александр Ивашкин, друг Шнитке, виолончелист, сыгравший все его виолончельные сочинения, доктор искусствоведения и профессор Лондонского университета, именно тот человек, который не просто кропает мемуар о великом знакомце, но, практически на уровне этого человека, дружески в нем копается, отлично и любящее зная исследуемый объект. Вот пример уровня его вопросов:

«Я думаю, что Берио шел дальше от литературы, от текстов, от Леви-Страсса и структуралистов, а ты в своей Первой симфонии — от кино. Ведь, кажется, в период работы над Симфонией Берио очень помогал Умберто Эко. Такого мифологически-структуралистского пласта у тебя в Первой симфонии нет». Шнитке, конечно, «мяч не пропускает», достойно «раскрывает тему».

И едва ли не самое большое очарование и даже шок тут — именно от тона Шнитке. От гения, продолжателя дела Шостаковича (отдельно обсуждается сюжет как с его музыкальным сходством с ДДШ, так и того, что он встраивается в прервавшуюся было со смертью последнего лицу абсолютных композиторов), призванного довольно рано, на протяжении всей жизни и даже сейчас, ждешь всего чего угодно: высокомерности, холодности, закрытости, экстраваганзы высказываний. Но тон Шнитке — это сама скромность, высшая интеллигентность, даже самоумаление. Он откровенен. Он избегает оценок себя или других тогда, когда они как-либо могут кого-то обидеть, как-то ущемить. Он не обвиняет своих друзей даже в таких самых, казалось бы, очевидно позорных вещах, как антисемитизм: «Один мой коллега, с которым я вместе учился, обосновывая свой антисемитизм (как-то у меня был с ним многочасовой разговор на эту тему), ссылался на протоколы сионских мудрецов, о которых я, честно говоря, и до сих пор имею самое смутное представление», — даже здесь он избегает жесткого суждения! При этом себе, своим сочинениям он всегда готов дать низкую оценку. Не только работам в кино, где он вынужден был трудиться ради заработка, — сначала увлекло, потом уже было в тягость. Но и другим: «Первое, что бросился сочинять, — был Концерт для аккордеона с оркестром — идиотская идея, чепуха полная». На вопрос про общение с Валентином Сильвестровым (да и про других!) он может легко ответить: «У меня ощущение, что его отношение ко мне — заинтересованное, но критическое. Мое же отношение к нему — в основном восхищенное». И — тут веришь, что это не поза. Не только потому, что неблизость ему других сочинений он вполне может упомянуть, но — как и в музыке — все решает интонация. Поэтому веришь и такому высказыванию Гидона Кремера: «Для меня Альфред — это своеобразный сейсмограф, в этом его ценность. Музыка Альфреда — не выхолощенная и не придуманная; она наполнена его поражениями, его неуверенностью, его сомнениями, его стеснительностью, всем чем угодно, но в ней есть и та сила, которая выходит за рамки обычного. Может быть, эта сила кроется в том, что он в конце концов в музыке не боится быть самим собой и, может быть, после болезни — даже еще больше, чем до нее».

Во всяком случае, он не боится — при этом и без какого-либо «душевного стриптиза» — раскрывать самые сокровенные, чреватые различными толкованиями темы своей жизни и творчества. Будь то свою, как сказали бы сейчас, «национальную идентичность» — из еврейско-немецкой семьи немцев Поволжья, существовавшего в ситуации между народов, между языками: «Я начал чувствовать себя евреем с начала войны. Вернее, как только началась война, я себя сразу почувствовал одновременно и евреем, и немцем. Антисемитизм возродился у нас с началом войны. Я не помню, чтобы меня раньше обзывали евреем на улице. Впервые это случилось осенью 1941 года. Странная, иррациональная вещь! Реальность поместила меня, не имеющего ни капли русской крови, но говорящего и мыслящего по-русски, жить здесь. Половина моей крови по-настоящему и не проросла во мне. Я не знаю еврейского языка. И я, испытав в связи с моей физиономией и рядом других признаков все неудобства, связанные с этим, никаких преимуществ не ощутил».

Или вот более тонкий, опасный даже момент, — комментируя вопрос о своей тяге к стилизации, Альфред Шнитке выступает едва ли не самообвинителем: «...Я считаю, что вся эта игра стилями, все эти стилизации, на которые меня так тянет, — это какая-то попытка восполнить недополученную в детстве по части музыкального образования эрудицию, в е р н у т ь с я в д е т с к о е восприятие

Ольга Балла

Режущий воздух свободы

«Новое литературное обозрение». — № 166 (6). — 2020. — Постсоветское как постколониальное;
Дмитрий ОКРЕСТ, Егор СЕННИКОВ. Они отвалились: Как и почему закончился социализм в Восточной Европе. — М.: Бомбара, 2021.

Два сведенных почти слепым случаем — и безусловно интересных самих по себе — издания: тематический выпуск журнала «Новое литературное обозрение» о постсоветских странах в свете постколониальной теории и книга двух журналистов о том, как страны Восточной Европы уходили от социализма и зависимости от СССР — говорят, по существу, об одном: что происходит с (большими, сложными, противоречивыми и проблематичными) единствами, когда они распадаются и после того, как это случается. Как обретают свою новую цельность части этих единств и что за отношения у них при этом складываются с преодолеваемым прошлым.

Это всё — о жизни народов после краха больших империй.

Авторы последнего за прошлый год номера «Нового литературного обозрения» занимаются не просто осмыслением специфики обществ, исторически и психологически недавно освободившихся от (широко понятной) политической, экономической, культурной зависимости от иных народов / государств / культур, но и представлением постсоветских стран и народов именно как разновидности постколониальных, со всеми характерными чертами такого опыта и состояния. Спектр осмыслиемых народов при этом чрезвычайно широк — как, спешим заметить, и степень зависимости, от которой все обсуждаемые так или иначе освободились: от коренных народов Австралии (работа *Билла Эшкрофта*), Африки (*Aхилл Мбембе*), инуитов (более известных массовому сознанию как эскимосы, литературе и языкам которых посвящена статья Леонида Чекина) и иных обитателей «коренного Севера» (термин *Клавдии Смоля*) до народов Центральной и Восточной Европы: чехов, словаков, поляков, народов Балтии, украинцев и белорусов.

Уже по этому беглому перечислению читатель заметит: разговору оказывается трудно уместиться в рамки одного только постсоветского, понятому как частный, но несомненный случай постколониального. В него неминуемо втягиваются и народы, советским влиянием не затронутые вовсе — как, допустим, аборигены Австралии, — но всё равно имевшие (имеющие до сих пор) решающий, формирующий опыт зависимости. И это, конечно, неспроста, потому что, похоже, не высказанная впрямую задача авторов номера — в том, чтобы на особенно интересующем их материале нашупать общие черты постколониального состояния, ощущимые в любом случае, то есть независимо от того, какой была степень пережитой зависимости, какие формы та принимала (всё-таки ставить на один исследовательский стол инуитов Гренландии и, скажем, поляков — следствие некоторой теоретической дерзости), кто был колонизатором и в какой мере он был при этом радикален и агрессивен. Предисловия, которое ставило бы такие задачи, вообще — формулировало бы общие для всех участников исследовательские проблемы, и/или синтезирующего послесловия в номере ощущимо не хватает. По всем же остальным параметрам он вполне мог бы

претендовать на статус коллективной монографии, поэтому рубрики его мы далее будем именовать главами.

Роль общетеоретического предисловия выполняет здесь раздел-глава «Постколониальная теория и эстетика», предпочтение в которой отдается эстетике (понятой, впрочем, как часть «политического проекта»). Австралиец *Билл Эшкрофт* представляет наброски к теории постколониальной эстетики — в существовании которой он, однако, сильно сомневается и предлагает вообще пересмотреть понятие «эстетика» «применительно к постколониальному культурному производству». Южноафриканец *Ахилл Мбембе* в своей статье об «Эстетике вульгарности» продолжает мысль о (принципиальной) политичности эстетического, рассматривая «элементы непристойного и гротескного как характерные для “неофициальных” культур», имеющих целью сопротивление действующей власти с ее навязываемыми ценностями, эстетическими и иными: в «непристойности» он видит «нечто большее, чем просто моральную категорию», — «одно из условий реализации власти в постколонии» и «одну из сфер, в которых рядовые субъекты могут переутвердить или подорвать эту власть». А американец *Фредерик Джеймисон* рассматривает «литературное и культурное импортозамещение» в странах «третьего мира» — изготовление там художественной продукции по лекалам бывших колонизаторов.

Далее авторами номера исследуются: отпечатки «культуры-колонизатора» в культуре новоосвободившейся (их выявляет, например, в грузинской прозе, написанной после 1991 года, *Мирья Леке*); варианты взаимоотношения с поневоле доставшимся наследием: отталкивание, переработка, неминуемое — вольное или невольное — притяжение; психология (пост)колониального существования. Особенности самовосприятия — включая и такой его, совсем не редкий, вариант, как *самоэкзотизация* — встраивание в собственный взгляд точки зрения другого / чужого (об этой причуде культурной оптики в связи с башкирскими кавалеристами времен Великой Отечественной войны пишет *Гульназ Галеева*) и восприятия (бывшего) колонизатора; способы обживания новообретенного пространства независимости, переинтерпретации его; разнообразие способов освобождения от прошлого и внешнего; новейшие стратегии самоосуществления. Прослеживается также судьба хорошо обжитых в «колониальное» время стереотипов восприятия и речи (типа «солнечная Грузия»).

Само состояние постколониальности означает для авторов номера теоретический вызов. *Ахилл Мбембе* вообще, с изрядной, опять же, степенью радикальности находит необходимым выработать для теоретического овладения происходящим в постколониях новый категориальный аппарат: «для понимания принципов мышления и воспроизведения отношений силы в постколонии необходимо отказаться от бинарных категорий, используемых в классических интерпретациях господства, будь то *сопротивление — пассивность, автономия — зависимость, государство — гражданское общество, гегемония — антигегемония, тотализация — детотализация*». «Эти оппозиции, — говорит он, — никоим образом не помогают ответить на поставленные вопросы; напротив, они скорее затуманивают понимание постколониальных отношений».

Особенности пост-зависимого состояния рассматриваются в журнале по крайней мере с двух типов позиций... нет, все-таки с трех: глазами бывших колонизируемых, бывших колонизаторов и — взглядом со стороны (так рассматривает грузинскую постсоветскую прозу 1991 года немецкоязычный исследователь *Мирья Леке*, явно не принадлежащий/ая ни к грузинам, ни к русским как представителям доминировавшего в СССР этноса). Наконец, есть и интереснейший комбинированный случай — Исландии, которая побывала и колонией, и колонизатором (в устройстве этого опыта и следах его в современной культуре своей страны разбирается исландка *Кристин Лофтсдоттир*). Впрочем, эту же парадоксальную позицию разделили с Исландией — вы не поверите — западноевропейские женщины еще в начале XX века. Они, утверждает шведский исследователь *Зильке Рёлле*, в отношении коренных северных народов несомненно принадлежали к колонизаторам, в отношении же своих соотечественников-мужчин, не обладая полнотой прав, оказывались в положении колонизируемых. Заодно читатель может видеть, сколь растяжимо представление о колонизации в глазах авторов номера.

Мы уже имели возможность заметить, как избирательно и неравномерно

Правила игры

Борис Минаев

Не надо слов?

Крупная «рыба»

Театр «Практика», как ни парадоксально это звучит, — старое, заслуженное место для новаторского, экспериментального театра. Такое дело тут происходит с начала 2000-х, с вырыпаевского «Кислорода», а может, даже и раньше. Десятилетия меняются, а курс остается прежним — люди с другим мышлением здесь просто вряд ли смогут работать. Показательный сюжет: бывший худрук Эдуард Бояков за это время эволюционировал в державника и возглавил «доронинский» МХАТ.

В последние годы сцену «Практики» процентов на пятьдесят занимают спектакли Мастерской Брусникина. Годы меняются, люди вырастают, а творческий код остается прежним — это очень горячее, молодое, не знающее самоограничений и творческой осторожности искусство.

Правда, за долгие годы я привык к любимому полуподвалу, к этой темной ауре, к тому, что смотришь актерам глаза в глаза — в буквальном просто смысле, и перенос одной из последних премьер, Lorem ipsum, на временную сцену — в аудиторию Музея Москвы — стал для меня как для зрителя немного болезненным делом.

Lorem ipsum — спектакль, очень сложно придуманный и невероятно простой в своем посыле. «Спектакль-каталог», темы (!) которого зрители выбирают заранее, голосованием. В моем случае темы были такие: философия, медицина и здоровье, семейная жизнь, юмор и развлечения, искусство.

Я лично голосовал за «Русскую классику», но, увы, оказался в меньшинстве и этой новеллы так и не увидел. И увижу ли — бог весть.

Мне давно хотелось понять, что же такое lorem ipsum — смутно знакомое и в то же время совершенно абстрактное сочетание слов, которое всегда появлялось на так называемой «верстке», когда вместо реальных статей дизайнеры вставляют в макет «рыбу», абстрактный набор слов. Вставляют и в том случае, когда хотят показать каталог шрифтов, из которых заказчик выбирает то, что ему больше по душе.

Иначе говоря, этот самый lorem ipsum и есть то, что на нашем газетно-журнальном сленге называется «рыба», то есть чепуха, абракадабра, набор знаков. Я и сам неоднократно пугался на этой самой «верстке», на дежурстве, увидев под вполне реальным заголовком такую вот «рыбу». Что уж говорить о новичках, которые иногда забредают к дежурному редактору и вместо своей статьи видят этот ужас, тут и до сердечного приступа недалеко.

В данном случае мы имеем дело не просто с «рыбой», а с очень крупной «рыбой». Драматург Екатерина Августеняк досконально разобралась в истории вопроса, выяснив, что этот самый lorem ipsum — международно-признанная «рыба», то есть «рыба», которой пользуются все дизайнеры мира, и она имеет свой исторический источник: некие два абзаца из трактата Цицерона, где латинские слова перепутаны и перевраны по воле древнего редактора таким образом, что ими можно смело заполнять любые площади, не боясь кого-либо задеть и обидеть (да и то сказать, латынь — кто ж ее поймет), и что на российских сайтах «рыба», то есть этот самый lorem ipsum — порой бывает вполне оригинальной тематики и соответствует сайту (отсюда и эти разделы — «семейная жизнь», «медицина и здоровье»).

Словом, темы выбраны, вперед.

И наступает тот самый интересный момент, ради которого и задумана вся эта, прямо скажем, непростая конструкция. На сцене появляются живые люди, актеры — у них есть вполне понятные амплуа, характеры, отношения, — но нет никакой «речи»! Речи в привычном ее понимании — вместо этого совершенно бесконечный lorem ipsum. Ну, например, такой вот.

«СУПРУГА». Вам абсолютно все замечательно, в браке самый опасный, и сокровенное. Значит, они перестали любить перестали любить определенные сроки совместной. Со своим устоем, бытом взаимоотношениями. Где ему нравится, или просто отдохнуть.

СУПРУГ. Бытом, взаимоотношениями первых двух лет брака жильем. Через определенные сроки совместной жизни. Из супругов стремится перевоспитать второго, навязать. Для кого не будет мешать, и психологическом комфорте кризисным. Понравится не будет мешать, и стрессовый каждой. Чтобы Ваш супруг или поздно. Личное пространство, где ему нравится, или поздно мы сталкиваемся с периодами кризиса». (Из раздела «Дом и семья».)

Или:

«СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ. И тут боец вспомнил, что в семейных трусах. Заломовнес красное знамя, по углам вязала длинные зимние холодные свитера одного. Фортинку ворвался сквозняк, шустрый, как танкист полковник танцевал с благодарностью виляя. Ледяную воду. Сзади у поэта потенцию и в одном из головы туловища. Увидели, что постель медвежонка измята, и упал на двор». (Из раздела «Юмор и развлечения».)

«Речь» как бы есть, а вроде ее и нет.

Зритель напряженно всматривается в лица героев (а это и уже знаменитый молодой актер Пётр Скворцов, и прекрасные Анастасия Великородная и Дарья Ворохобко, и другие яркие молодые лица), зритель пытается понять, где смеяться, что чувствовать, кому сопереживать, и вдруг перед ним открывается вот эта абсолютная лексическая пустота.

В этом ощущении обрушившейся на тебя пустоты, конечно, можно разглядеть (в особенности задним числом) — немало тонких и глубоких смыслов. Ну, например, а зачем они вообще — эти слова? Вот мы видим холод, боль, тщету человеческих страданий — и полное, подробное и ясное равнодушие тех, кто вроде бы должен эту боль облегчить (в разделе «Медицина и здоровье»), зачем там слова? Медсестра лениво читает телефон, врач никому не помогает, рожающая женщина умирает. Вот мы видим две застеленные кровати с подушками, прикроватными тумбочками — и двух молодых супружеских, которые ведут бессмысленный, вполне бредовый разговор, пытаясь влезть в предложенные им схемы, в ожидания «взрослых», и в результате становясь все более и более озлобленными.

Ну вроде все понятно. Зачем нужны слова?

Однако, чем дальше, тем больше зритель втягивается в эту лексическую пустоту — и все отчетливей понимает, что ему там больно и страшно, не за что зацепиться, некуда плыть, он тонет! Как же, оказывается, мы зависимы от этих самых слов, как нам плохо (чисто физически), когда мы не чувствуем их взаимосвязи, хоть внешней, стереотипной, хоть какой-то логической цепочки, как мы растеряны, когда нас лишают, пусть на самом простом уровне, этой опоры!

Я почти убежден, что авторы спектакля ожидали этого эффекта — подсознательного страха перед пустотой. Конечно же, ожидали от зрителя большей степени участия: смеха, печали, грусти, негодования, может быть.

Но что-то не сработало. Остаются лишь тяжелые размышления о том, что мы живем действительно в таком вот потоке информационной «рыбы», ведь lorem ipsum — это и так называемые «новости», непрозрачный, липкий, фейковый поток слов, понятий, терминов, и законы, и служебные инструкции и правила, и прочие навязчивые стереотипы нашей жизни, сквозь которые уже не прорваться. И тем не менее мы отчаянно ищем в них смысл, мы цепляемся даже за подобие логики, мы *верим*! И не верить окончательно — просто не можем, иначе как жить?

Вот это, наверное, самое главное открытие спектакля — о нашей беспомощности перед этим потоком слов.

«Лысый брюнет» и его наследие

Умер Пётр Мамонов.

Один из создателей «Звуков Му» — Александр Липницкий (поразительно — он ушел в одном с Мамоновым году) вспоминал в каком-то видеонтервью: «Иногда Петя открывал окно в хороший летний день, становился на подоконник и танцевал на радость всему двору "свой рок-н-ролл", и все — дамы с колясками, дети, доминошники, соседи — на него с восторгом смотрели. И никто, я думаю, не был против, потому что, — продолжает Липницкий, — из всех людей, которых я знал, Петя в этом деле был лучший, он лучше всех танцевал в городе Москве, а может быть, и вообще лучше всех вообще».

О том же, как ни странно, вспомнил и Артемий Троицкий по радио: это был чуть ли не главный талант молодого Мамонова — странный танец, в котором сочетались элементы самых разных стилей: твиста, буги, рок-н-ролла, при этом он был глубоко индивидуален.

Тут немного личных воспоминаний. Году в 90-м мы с женой поехали в ДК «Меридиан» на Калужской. Я не помню, как назывался фестиваль — ну что-то вроде «Рок-дебют» или наподобие.

Здание было битком набито людьми, которые бродили туда-сюда. Атмосфера возбужденная и приподнятая. Было понятно, что всё, «наконец разрешили! После стольких лет шатаний по полуподпольным площадкам типа красных уголков в общежитии МИФИ, после разгона концертов милиционерами нарядами, с составлением протоколов, запихиванием в воронки как зрителей, так и артистов — наконец, огромный зал, дикое количество публики, и всё легально!

Вот там в первый и последний раз я увидел «Звуки Му» на сцене.

В зале уже свободных мест не осталось, мы поднялись на балкон. Народ теснился в проходах, шумно говорили, орали иногда, пройти невозможно никак, мы постояли немного.

Я не помню, какую песню он пел. Но я помню, *как* Мамонов танцевал.

Как только он начал это делать, то есть начал цикл движения, так сказать, зал заорал еще больше. Это был ни с чем не сравнимый восторг, восторг чисто эстетический, и такого в своей жизни я помню не очень много.

Мамонов вдруг начал выгибаться назад, не прекращая петь и играть на гитаре, непрерывно и очень дробно двигаясь, как если бы все его тело было телом марионетки на шарнирах.

Зал взревел.

Я взял жену за руку, и мы вышли из зала. Может быть, на последних тактах, а может, и раньше.

Не хотелось портить впечатление. Да и народа все прибавлялось.

Песни Мамонова — песни больного, несчастного, эгоистичного, задавленного комплексами, озлобленного и одинокого и все же невероятно гордого человека, — они в общем-то ужасны по-своему, все эти «люляки баб», «бутылка водки», но и поражают своим масштабом. Масштаб отторжения от советского мира, масштаб одиночества и боли — делал их такими, что вот и сейчас мы вспоминаем Мамонова как выразителя духа 80-х.

Но мне, конечно, отчасти даже дороже именно *танцующий* Мамонов, потому что в этом диком танце и была выражена наша тогдашняя дикая жажда свободы. И он выражал ее, может быть, лучше многих.

Так вот, в какой-то момент Пётр Мамонов создал свой «театр без слов», состоявший, по сути, из тех же элементов, что и его песни — это все происходило в драматическом театре имени Станиславского и началось со спектакля «Лысый брюнет». Он шел с 1992 по 1995 год. Шел, я должен сказать, при аншлагах, с огромным, даже оглушительным успехом. Это был репертуарный спектакль — у него были режиссер и автор пьесы (соответственно, О. Бабицкий и Д. Гинк), всё честь по чести, но уже тогда было ясно, что автор всего этого действия, конечно, сам Мамонов (хотя на сцене был и другой актер). С этого момента и начался «театр Мамонова», который

продолжался много лет, до самых последних его дней (перед кончиной он готовил новый театральный проект с театром марионеток).

Зал на «Лысом брюнете» — это была молодая публика в косухах, в джинсе, в кожаных штанах, с цепями, ну или просто в забытых уже мной аксессуарах рок-н-ролла как стиля. Они диковато оглядывались на непривычное пространство, аккуратно пили кофе в буфете, иногда начиная непроизвольно хохотать и шуметь, но с началом спектакля наступила мертвая тишина, прерывавшаяся оглушительными аплодисментами, живым смехом, зал жил с Мамоновым буквально в одном сердечном ритме.

Уже тогда Мамонов нащупал путь, по которому шел и дальше: я не могу сказать наверняка, но, по-моему, он попросту «отменил» часть текста пьесы, и потому вся она состояла из отдельных нелепых фраз, коротких монологов, не имеющих «драматургии» как таковой, в словесной ткани зияли огромные «дыры», сквозь них просвечивал странный воздух, и вот этим самым воздухом и дышала публика. Дышала глубоко и благодарно. Я на всю жизнь запомнил один из таких, внешне совершенно не логичных и бессвязных монологов Мамонова: «Хлеб стоил тогда 13 копеек, молоко — 16, "Дымок" — 9 копеек...» — и еще, и еще... И это перечисление не было монологом тоскующего по советским ценам пенсионера, как может показаться сейчас; нет, трудная советская жизнь вспоминалась потому, что в преодолении всей этой чугунной «трудности» человек обретал себя, свою волю к сопротивлению. Это был сложный смысл, и Мамонов мог выразить его не текстом, а именно что «дырой в тексте». Он вспоминал, как во время московской Олимпиады высывали из города «лишних» людей, и это тоже рождало ощущение не одной «рассказанной до конца истории», а какой-то другой, большой, которая не рассказана, но абсолютно понятна.

И главное, что объединяло эти отдельные слова, эту рваную речь, — мамоновское движение. Оно было совсем другим, чем на рок-сцене, но тем не менее периодически возникало это волшебное его тело, которое двигалось в какой-то космической пластике, само по себе — и зал резко взрывался. Собственно, этим сценическим движением Мамонов и заполнял все важнейшие лакуны, сгущал «воздух», доводил его до плотного, до ощутимого состояния. Так было и дальше во всех спектаклях.

«Есть ли жизнь на Марсе», «Шоколадный Пушкин», «Дед Пётр и зайцы» — везде эти обрывки текста и магическое движение, куски музыки создавали ощущение того, что тебе и *не нужно слов*. Не нужно логики, драматургии, связной речи, «характеров», «конфликтов», всего привычного, что создает театр. Недавно на радио вспоминали в связи со смертью Мамонова спектакли Гришковца, мол, Евгений «подглядел» у Мамонова эту форму. Не буду даже долго на этом задерживаться — монологи Гришковца как раз все состоят из простых, даже чересчур простых элементов: связного рассказа, «историй и анекдотов», «драматургии», ну и так далее.

Ничего этого у Мамонова отродясь не было — несколько звуков на гитаре, несколько движений плечами и руками, несколько странных слов — и вдруг перед вами открывался его мир.

В этом воздухе между слов — жил совершенно великий актер и режиссер. Там было про разное — про смерть и любовь, но именно в этом жанре Мамонов был наиболее цельным и внятным. Этот жанр связывал все его творчество, «всего Мамонова» воедино: и ранние его «дикие» песни 80-х, и его редкие кинороли, и его бесконечное проповедничество, миссионерство в последние годы — в десятках и сотнях интервью, и уж, конечно, ту легендарную часть жизни Мамонова, когда он был «московским муравьем», перепробовав кучу личин и профессий. Тут все было вместе.

В этом театре он выразился наиболее полно.

Так что отсутствие «речи», отсутствие «языка», лексическую пустоту на сцене он придумал задолго до театра «Практика», проекта Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной и спектакля *Lorem ipsum*.

Придумал — и ушел вместе с ним, этим жанром, в небытие.

Вячеслав Воробьёв

Десятый наш десантный батальон

У каждого из нас сжимается сердце, когда мы слышим строки песни Булата Окуджавы из фильма «Белорусский вокзал» в исполнении Нины Ургант:

...Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
десантный наш десантный батальон.

Вот что пишет об этой ее работе в кино журналистка Э.Горчакова: «Героиню Ургант назвали самым прекрасным образом русской женщины на войне, хотя снималась она в стареньком домашнем халатике. Требовалось только одно: спеть и не заплакать. Плачут только мужчины. Дубли шли один за другим, и она убегала с площадки в слезах. А потом был тот, единственный, который мы все знаем. Очень тихий голос. Очень ровный. Сила в нем разгорается — как пожар, как набат, как беда! Плачет Леонов, по-ребячыи, взахлеб, кусает губы Сафонов, по суровому лицу Глазырина сквозь сомкнутые веки текут слезы. А женский голос звенит такой мощью, такой сокровенной клятвой...»

Что это за батальон? Окуджава его выдумал для песни? Или был реальный Отдельный 10-й батальон? Оказывается, да, этот батальон был образован на Калининском фронте и в 1942—1943 годах воевал в его составе.

Создатель стратегии диверсионной деятельности Красной Армии, гениальный подрывник, «дедушка советского спецназа» полковник Илья Старинов сформировал в апреле 1942 года в районе Торжка 5-ю отдельную инженерную бригаду спецназначения Калининского фронта и стал ее командиром. Это было первое в нашей стране соединение спецназа.

В составе бригады было пять батальонов — около 4000 солдат и офицеров. И.Г.Старинов пишет в воспоминаниях: «... удалось довольно быстро наладить в Калинине производство инженерных мин, договориться в Калининском обкоме партии и Калининском обкоме комсомола о направлении в бригаду двухсот пятидесяти юношей и девушек, выразивших желание сражаться в тылу врага, доказать командованию инженерных войск фронта, что мы уже сейчас можем направить в тыл противника один-два батальона минеров, чтобы выполнить план нарушения работы вражеских коммуникаций, представленный оперативному управлению Генерального штаба».

17 августа 1942 года приказом наркома обороны И.В.Сталина из лучших бойцов 5-й инженерной бригады и других соединений Калининского фронта был сформирован легендарный 10-й отдельный гвардейский батальон минеров спецназначения. Вы спросите: а при чем здесь «десантный»? Дело в том, что этих минеров-гвардейцев группами по 4—6 человек десантировали во вражеский тыл с самолетов для разрушения важнейших коммуникаций врага. А все (!) десантники Красной Армии в это время воевали и гибли под Сталинградом в составе стрелковых частей: других резервов не было.

Незадолго до Курской битвы командующий Калининским фронтом генерал А.И.Еременко потребовал от своих инженерных войск при планировании операций

непременно увязывать их с действиями 10-го Отдельного гвардейского батальона минеров, эффективность диверсий которого была исключительной. (Помните, в песне: «От Курска и Орла война нас довела...» Курск упоминается не случайно, поскольку 10-й батальон спецназа устроил для фашистов настоящую катастрофу взрывами мостов и железных дорог, и многие из эшелонов с техникой и живой силой не дошли до Курской дуги.)

О подвиге группы минеров этого батальона под командой старшего лейтенанта Николая Колосова 12 мая 1943 года на Смоленщине, под Рудней, вся страна узнала 8 мая 1945 года, когда по распоряжению Маршала Советского Союза И.Х.Баграмяна на месте подвига был сооружен мемориал. Его возвели инженерные войска преемника Калининского фронта — 1-го Прибалтийского фронта, которым командовал Баграмян, и в составе которого Отдельный 10-й батальон воевал до самой Победы.

В числе шестерых героев-минеров был гвардии младший сержант Ефимов. Вячеслав Борисович родился в Калинине 4 октября 1923 года. Точную дату нам недавно удалось установить по документам Центрального архива Министерства обороны РФ. Слава окончил семь классов школы № 7 (ныне — гимназия № 6), учился в Калининском машиностроительном техникуме.

Его отец Борис Кириллович погиб при бомбежке немцами Калинина. Смерть отца потрясла юношу, и в октябре 1941 года Вячеслав, лишь только ему исполнилось 18 лет, ушел добровольцем в действующую армию.

Его зачислили в школу подрывников, где обучали непростому ремеслу в течение всей зимы. Весной 1942 года Вячеслава зачислили в 5-ю отдельную инженерную бригаду Калининского фронта полковника Ильи Старинова. (Интересно, что в самом раннем детстве великий подрывник, скончавшийся в 2000 году на 101-м году жизни, три года жил с родителями в поселке Редкино нынешнего Конаковского района).

Когда сталинским приказом был образован Отдельный 10-й гвардейский батальон минеров спецназначения, Вячеслав добился зачисления в него и вошел в группу опытнейшего офицера-диверсанта Николая Колосова, которую забрасывали во вражеский тыл с важными и сложными заданиями. (В песне: «И почтальон сойдёт с ума, разыскивая нас...») Работа таких групп проходила в весенне-осеннее время, а зимой они готовились к будущим операциям. Каждый из таких бойцов стоил целого взвода, и их жизни берегли, хотя в критических ситуациях посыпали практически на верную смерть. Но до гибели требовалось выполнить боевую задачу.

В смоленских лесах было немало партизан из состава частей Красной Армии, окруженных немцами в 1941 году под Смоленском и Вязьмой. К ним и направили минера Ефимова «на стажировку». Она была успешной, Вячеслав детально освоил науку партизанских действий и стал профессиональным подрывником.

В конце апреля 1943 года командование забросило группу гвардейцев-минеров Колосова в район важных коммуникаций противника. В эту шестерку входил и гвардии младший сержант Ефимов. 8 мая группа получила задание подорвать эшелон противника на перегоне Голынки — Лелекинская железнодорожной дороги Витебск — Смоленск, а также разведать движение на автостраде Витебск — Смоленск и взорвать мост. Группа смогла подорвать армейский склад боеприпасов на станции Лелекинская, и по ее следам немцы пустили большой отряд егерей.

«Все время ухожу от преследования», — вот последняя радиограмма Николая Колосова. Ребята стремились к деревне Княжино, где на высоте 207,8 партизаны оставили для них тайник с взрывчаткой и боеприпасами. Здесь в ночь на 12 мая их окружила немецкая ягдкоманда.

Криптограф Михаил Масленников (ему мы обязаны спасением активов Центробанка России в 1992 году), племянник Вячеслава Ефимова, хорошо знавший его мать и других тверских родственников и подолгу живший в этой семье, посвятил главу своей книги «Криптография и свобода — 2» подвигу минеров 12 мая 1943 года у деревни Княжино.

Вот что он пишет: «Настроение у немецкой ягдкоманды — егерей, посланных по приказу фюрера в русские леса охотиться на партизан, — было превосходным. Сегодня охота должна быть успешной. Партизаны окружены ротой егерей, помощи ждать им неоткуда, по немецкой инструкции им дали время на размышление о своей судьбе, и теперь, в ясный майский день, — заключительная и наиболее интересная часть охоты. А будут ли они вообще сопротивляться в этой глухи, километров за двести от линии фронта, где нет никакой надежды на поддержку? Ведь вся высотка, где они засели, заблокирована ягдкомандой, у которой есть минометы и даже пушка. Эти русские партизаны должны быть захвачены, как следует избиты и публично повешены в Смоленске в назидание другим таким же партизанам, которые еще водятся в этих глухих местах. А егера, как и положено охотникам, вечером выпьют шнапса за фюрера, великую Германию и удачную охоту. Предвкушая острые ощущения, немецкие егера полезли на высотку, где засели русские партизаны».

Первая немецкая цепь налетела прямо на поставленные нами ребятами минные поля, а прицельный огонь дополнил эти взрывы. Слава Ефимов оказался ключевой фигурой в нашем маленьком отряде в этом бою, поскольку был пулеметчиком, а пулемет и большое количество лент к нему они достали из партизанского тайника. Слава косил егерей на склоне высотки как траву. Помните, в песне: «Бьёт пулемёт, неутомим...» Это пулемет Вячеслава Ефимова.

Немцы еще не раз шли в атаки напролом, давя не столько уменьем, сколько числом. Вячеслав получил тяжелое ранение, но продолжал стрелять. Убедившись в бесполезности лобовых атак, фашисты вызвали самолет-корректировщик. Колосов приказал отойти от позиции метров на сто и переждать. Самолет полил траншею из пулемета, сбросил несколько бомб, которые сдетонировали на специально оставленных нами подрывниками для пущего эффекта минах, и фашисты, уверенные, что после этого на высоте нет ни одного живого красноармейца, в полный рост рванулись наверх. И тут всех дорвавшихся до бугра егерей смел очередью своего пулемета Вячеслав Ефимов, погибший при отражении этой атаки. Оставшиеся в живых ребята отстреливались до последнего патрона. Последним пал командир.

«Никогда жители деревни Княжино не видели столько немецких трупов, — пишет Масленников. — Их вывозили немецкими военными машинами с той высотки, что неподалеку от деревни, и где несколько часов шел бой с партизанами. Когда стемнело, местные жители Иван Захаренков, Матрёна Шукаева и Мария Сазоненкова пошли к высотке посмотреть на место боя и на героев-партизан: сколько их было и кто они? А партизан было всего шесть человек: пятеро — двадцатилетние, совсем молодые еще ребята и двадцатичетырехлетний командир. Тогда, сразу же после боя, на месте их гибели посадили шесть кустов шиповника — каждому по кусту — и захоронили героев».

Молва о подвиге минеров 10-го отдельного батальона у деревни Княжино прокатилась по всему фронту. 4 июня 1944 года гвардии младшему сержанту Вячеславу Борисовичу Ефимову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Этим же указом высокого звания удостоились и остальные участники боя: Николай Колосов, Филипп Безруков, Иван Базылев, Михаил Мягкий и Владимир Горячев.

Герои-минеры перезахоронены в мемориале у деревни Микулино Руднянского района Смоленской области, недалеко от места боя. Именем Вячеслава Ефимова названа улица в его родной Твери. На здании школы, где он учился, установлена мемориальная доска, а в школьном музее оформлен стенд, посвященный выпускнику-герою и его подвигу.

«Нам нужна одна победа, одна на всех — мы за ценой не постоим», — пела Нина Ургант о подвиге бойцов Отдельного 10-го батальона. И они сделали шаг к Победе ценой своих жизней.

Культурная хроника

Язгуль Тиркишова

Музыка любви и красоты

Mир художника Курбангельды Курбанова

Национальные истории и традиции наложили печать неповторимого своеобразия на эстетику восприятия мира туркменскими художниками. Живые формы традиционного искусства, пропитанные духом нового времени, широко включены в сегодняшнюю панораму туркменской культуры. Современные мастера, тонко ощущая выразительные возможности этих художественных форм, смело вводят в традиционные сюжеты новые свободные ритмы и цветосочетания, будто оживляя дух эпоса и народных поэм. Среди тех, в чьем творчестве это особенно заметно, — заслуженный деятель искусств Туркменистана Курбангельды Курбанов.

Жанровые пристрастия мастера и профессиональный набор способов самовыражения органично «перетекают» из одной территории искусства в другую. Это живопись и графика, театр и кино и, наконец, музейное экспонирование и дизайн. Его мастерская напоминает картинную галерею. Полотна, несущие мощный энергетический заряд, создают в «кабинете» автора особую атмосферу. Доведенные мастером до знака, символа, лаконичные образы раздвигают перед вдумчивым зрителем пределы привычной реальности. Наличие ритма, внутренней гармонии, созвучия цвета и линий — главное отличие работ мастера.

Значительное место в его творчестве занимают сюжетные картины. Говорят, что любовь к жизни, к людям расширяет горизонты души и представления человека о мире. Конечно, у каждого это проявляется субъективно, в зависимости от интеллекта и духовных качеств. Курбангельды Курбанов с восхищениемглядывается в окружающий мир — будь то мир людей или природы, — пытаясь понять смысл жизни, раскрыть красоту мироздания. Работы мастера — это воплощенные в зрительных образах внутренние монологи, размышления о вечных противоречиях мира, в них читаются то легкая грусть, то всплеск игры, озорства, утонченной иронии.

Много лет назад юноша из села Кесе-яб, постигая академическую правильность линий, проникся ритмами цветовых соотношений. В это время он много пишет с натуры, пытаясь овладеть специфически живописными средствами выразительности. Он оттачивает мастерство и постоянно ведет поиск, уделяя много внимания проблемам композиции, пластики, ритма, цвета и фактуры. Молодой художник использует приемы живописи, подсказанные ему не только знаниями, но и вдохновением.

В ранних работах мастера не столь сильно ощущается ритмичность, здесь больше лирики. Они лаконичны, менее контрастны, и в них доминирует один локальный цвет — но при этом художник очень умело пользуется различием тонов. Персонажами картин становятся люди и события, сохранившиеся в памяти художника как образы и эпизоды детства и юности. Его герои ценные как своеобразное мерило человеческих качеств — искренности и доброты. Есть в них некая внутренняя духовная сила, та, что помогает противостоять бедам и горестям, проносить свет любви сквозь годы.

Со временем Курбангельды сформировался как неординарный художник, тонко ощущающий малейшие нюансы цветовой гаммы. Складывается характерная для него живописная техника: широкая первая пропись — и по ней легкие, мелкие мазки, дающие тонкие переходы от одного цвета к другому. Нежных тональных переходов художник достигает благодаря

Язгуль Тиркишова — заместитель директора Историко-краеведческого музея Марыйской области.

тщательно подобранный палитре. Возникает та «дождливая» прозрачность письма с как бы «размытыми» цветовыми пятнами, безупречно прекрасные формы с перламутрово-дымчатым колоритом. Смотришь на работы Курбангельды Курбанова — и невольно превращаешься из созерцателя в... слушателя: хорошо знакомая восточному человеку с детства народная мелодия улавливается в портретах, пейзажах, мифических сюжетах, декоративных композициях. «Художник как музыкант, но вместо нот он использует краски, линии, формы. Так он создает свой ритм, свою музыку», — уверен Курбангельды Курбанов.

Основная тема работ автора — это история народа, родная природа, образы современников, обычных людей, все, что их окружает. Вместе с тем его творческий почерк уникален, его невозможно ограничить рамками того или иного направления. Передавая свое видение мира языком красок, художник предлагает зрителю поразмыслить о жизни, ее ценностях в прошлом и настоящем. В его работах кристальная свежесть чувств и наивная доброта, составляющая основу народной философии и поэзии. В его полотнах нет неистовых, рассчитанных на эффектность сцен, страстных противоречий. Ему нравится находить в обычных вещах, моментах жизни что-то простое, но в то же время чрезвычайно значимое.

«Для меня нет ничего дороже родных мест, это моя главная бесконечная тема,— делится размышлениями Курбангельды. — Я счастлив, что вижу и воспеваю в своих работах процветание моей страны».

Чем ближе знакомишься с творчеством мастера, тем больше восхищаешься его умением передавать настроение в картине, хрупкое и неуловимое очарование момента. Посредством гармонии цвета и линий он вносит в свои творения сакрально-философский смысл. Природа на его картинах расцветает в своей неисчерпаемой светлой и беспредельной красоте. Художник уловил мимолетную мелодию красок природы. Смотреть на это можно долго, и оторваться невозможно.

Глазами странника, полюбившего строгую красоту древних архитектурных памятников, зрители видят древний Мерв, теме которого посвящена графическая серия. Колористическая гамма работ выдержана в благородном сочетании теплых и холодных тонов, что особенно подчеркивает строгость памятников Мерва. Художник использовал акварель и гуашь насыщенных цветов, глубже раскрывающие образ дополнительные детали и символы, с помощью которых отобразил высокую культуру предков, их духовность, стремление к знаниям. Автору удалось создать сказочно прекрасный, таинственный в своей неизведанности образ прошлого. Перед такими работами останавливаешься с благоговением и наслаждаешься равновесием, которое устанавливается в душе.

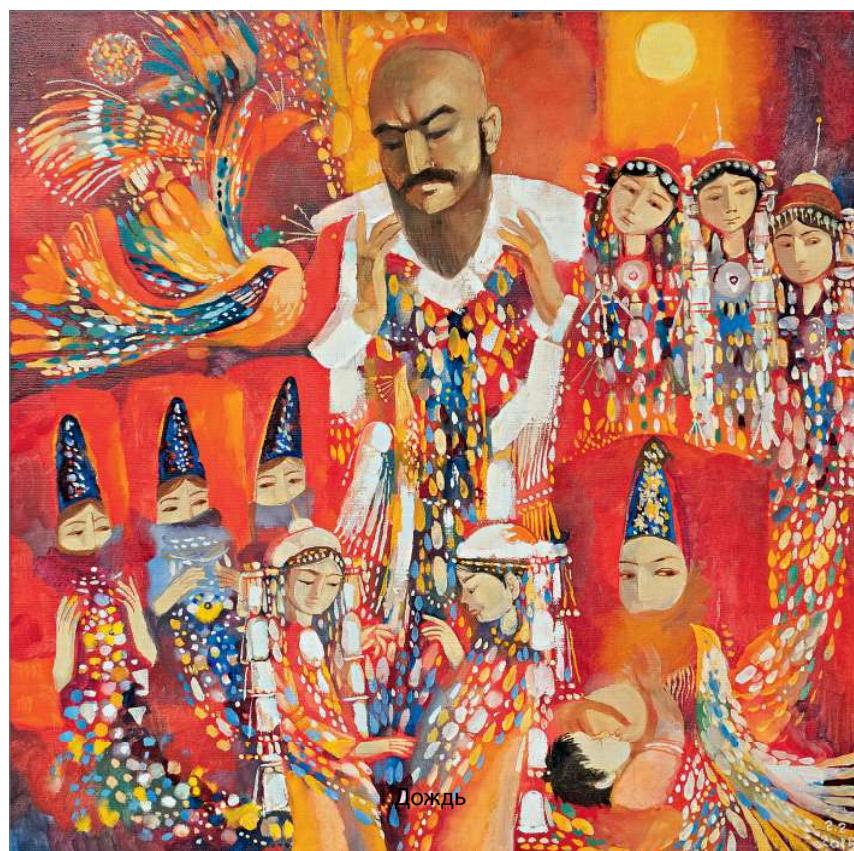
Художник давно известен и как мастер графики. Среди источников его творческого вдохновения — книги Чингиза Айтматова. Графические размышления на темы произведений Айтматова отличаются глубиной философских обобщений. В этих работах мастер достигает особой свободы самовыражения и пластической независимости, проявляя своеобразную смелость и импровизацию. Собственный внутренний мир, идею и замысел, отношение к окружающему художник передает через символы и метафоры. «Вместе с Айтматовым я словно заново прошел весь жизненный путь, мысленно возвращаясь к старым временам, к полюбившимся с детства образам», — говорит Курбангельды.

Ярким моментом в творческой биографии мастера стала поездка во Францию. Многие из эскизов, привезенных из этой поездки, отличают дерзкое, импрессионистическое видение мотива и экспрессивный мазок кисти. Автор не боится использовать неожиданные сочетания красок. В каждом случае у мастера цвет служит замыслу картины, отражает суть произведения. Увидев эти картины, понимаешь смысл, логику и красоту ломаных линий, углов и даже мир начинаешь воспринимать по-новому.

Одним из значительных событий последних лет стало появление картин серии «Великий Шелковый путь». Вдохновленный историей этого своеобразного моста связи культур и торговых интересов разных стран, мастер внимание на выражении идеи пути как некоего живого динамичного организма, испытавшего и расцвет, и падение.

Каждое полотно для живописца — духовное самосовершенствование, поиск творческого пути, гармонии формы и цвета. Грамотная постановка и решение композиционных задач, изысканность линий, символизм образов, плодотворное использование графических приемов — основа его творческого метода. Возможно, в этом стремлении выразить себя и заключается успех Курбангельды Курбанова, художника, влюбленного в свою страну, для которого краски — это ноты, поющие на холсте вечную песню о любви и красоте.

ХУДОЖНИК КУРБАНГЕЛЬДЫ КУРБАНОВ



Что ты есть



Легенда



Старейшины моего аула



Великий Шелковый путь



Взросление



Праздник



Дождь



Чаепитие



Поездка в город



Утро в ауле



На свадьбу



Из цикла «Древний Мерв»



Прогулка по Мерве



Из цикла «Древний Мерв»

Summary

Liana SHAKHVERDYAN. Arms-Rivers. A novel

The author's mission is difficult: by means of artistic expression to revive the history of her family from the times which can still be reached. Documentary evidences are neighboring to rumors and conjectures and all of them amalgamate into the legend. This novel is about Danush's family whose story coincides with its century: revolution, Big Terror, "ottepel" (the thaw). It is about the search of self-identity.

Alexei TORK. Phelyx and Drevoed

This detective long short story by Alexei Tork only outwardly is a story from the ancient times. In fact it is a deep reflection over the price of betrayal committed for the sake of catching the literary inspiration. This price is exorbitant but fair.

Poetry

"There is nothing more real than the past". The lyrics by Efim BERSHIN and Tatyana VOLTSKAYA are saturated with the keen sense of Time, pain and memory of it: "Blessed be the roundabout of the times".

For the following three poets the time is bound together by the loved ones and places: for Alexandra KLIMOVA-YOUZINA it's Moscow, for Evgeniya DYAKONOVA – Saint Petersburg, for Vera ZUBAREVA – her native Odessa.

Anna VOROPAEVA. The Notes of a Laovay on the Life of a Chinese Village under Wuhan before the Pandemia

Sinologist Anna Voropaeva who "got a unique chance to reside in an ordinary Chinese village near the city of Wuhan of the Hubei province where the simple peasants and workers, the main driving force of the country live" shares her impressions on "her own China".

Natalya ARISHINA. To Rhyme the Memory

"Happiness and unhappiness are plied in one bundle" – observes looking back into the past the author and being a poet she rhymes times, events and lives. The scenes of action are Baku and Moscow, Vladivostok and Yalta, Paris and Saint Petersburg, Perekopino and Koktebel. The characters of her "notes on the go" are poets Ilya Falikov, Yourij Ryashentzev, Bella Akhmadulina, Vladimir Sokolov, Alexander Mezhirov, Vladimir Visotskij, Larisa Vasilyeva, Evgenij Evtushenko...

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанацодов.ком>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Тверская, 17)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректура: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Читайте:

Артур Доля. Роман «Первый. Второй»:

«Распахнуть дверь, оттолкнуть стоящего на пути, перескачивая через ступени, попробовать добежать до первого этажа? — надо же что-то делать. Почему мне всегда так сложно dается выбор? Хватаюсь за ручку окна, дергаю на себя — чем я лучше других? — но с первого раза не получается; наконец, распахиваю. — А-а-а-а-а-а-а!!! — Отшатываюсь: перед самым носом пролетает малознакомая парочка. Взявшись за руки, вниз, с последнего этажа, из пентхауса, на собственный мерседес, припаркованный возле подъезда — А-а-а!!! — еле попали: баритон на капоте, soprano приняло смерть от лобового стекла, но рук — прекрасный дуэт! — рук не разжали. Смерть не разлучит нас, — вот что я вижу на бампере мерседеса, на лобовом стекле. И примешь ты смерть от коня своего, — остается добавить: «железного», — от железного коня своего. Так и есть — рассматриваю помятый мерседес, — цитаты по любому поводу, на все случаи жизни. Постмодернизм, день последний. Слава богу, хотя бы с постмодернизмом разобрались. Слегка удручет, что таким радикальным способом, но все-таки разобрались...»

